

**АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ**

**ЦДЛ**

РОМАН

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

**Глава девятнадцатая**

Куравлёв жил так, будто ему разрезали грудь, открыли стучащее сердце. Полоснули ножом и снова зашили грудь с разрезанным сердцем, причинявшим нестерпимую боль.

Через день его пригласили в “Большой союз”, где собрался секретариат. В “усадьбе Ростовых”, в маленьком зале, где, должно быть, когда-то давали знатные обеды, за длинным столом сидели секретари Союза. Куравлёва усадили отдельно, у края стола. Георгий Макеевич Марков ласково на него посмотрел и обратился к коллегам:

— Дорогие товарищи, прошу, чтобы высказали своё мнение о кандидатуре Виктора Ильича Куравлёва, которого мы хотим на съезде писателей ввести в наш секретариат. Виктор Ильич зрелый писатель, снискал уважение в литературной среде. Автор интереснейших книг. К первой книге сделал предисловие Юрий Валентинович Трифонов. После афганских очерков кандидатуру Куравлёва одобряет секретарь ЦК Зумянин. Теперь остаётся услышать вас, дорогие коллеги. Прошу вас, Юрий Васильевич, — Марков обратился к Бондареву.

Сухощавый, с зоркими глазами артиллериста, с небольшим плотно сжатым ртом, Бондарев был любим Куравлёвым. Он восхищался его блестящими повестями о войне, положившими начало “фронтной прозе”. Были интересны его романы, в которых он одним из первых заметил трещинки в теле государства. Эти трещинки превратились в трещины, разрывающие страну. Бондарев был облакан, награждён множеством премий, заседал в самых почётных президиумах.

— Что ж, я ничего не имею против. Куравлёв прекрасно написал о войне. Он солдат. Нам сегодня нужны солдаты, которые смогут постоять за культуру, на которую нахлынула тьма. Прорабы “перестройки” подняли самолёт, но не знают, где он опустится. Они зажгли фонарь “перестройки” и повесили его над пропастью. Уверен, в ближайшее время нам потребуются отважные люди. Куравлёв — ещё один штук в нашем батальоне.

Вторым высказался Сергей Владимирович Михалков. Длинный, худой, с заострённым носом, заикающийся, он был симпатичен Куравлёву. Мысленно Куравлёв называл его “камергером”, ибо тот был всегда “при дворе”. Вся страна вставала, когда играли сочинённый им гимн. Он иронично рассказывал, как Сталин принимал его в Кремле и вносил поправки в гимн.

— “Перестройка” очень хороша! Но как бы “перестройка” не переросла в “перестрелку”. Куравлёв умеет стрелять. Об этом свидетельствуют его недавние очерки.

Всё это Михалков произнёс с потешным заиканием, и казалось, он пошучивает над коллегами, над Куравлёвым и над самим собой.

— Что ж, товарищи, я только “за”! — Михаил Николаевич Алексеев, маленький, окающий, слегка приволакивающий ногу, возглавлял журнал “Москва” и впускал Куравлёву странное мучительное чувство. Алексеев написал небольшую книгу “Мой Сталинград”, где рассказывал, как в бой бросались свежие дивизии из молодых новобранцев и через час остатки дивизии из окровавленных, оглушённых солдат отправлялись на переформирование. Куравлёву казалось, что Михаил Алексеев встречался с отцом, хоть на мгновение обменялся с ним взглядом. Однажды Куравлёв видел Алексеева в Дубовом зале, окружённого почитателями. Алексеев, порозовевший от выпитой водки, пел: “Шагом, шагом, шагом, братцы, шагом. Мы дойдём до города Чикаго”. — Я поддерживаю Куравлёва. Если вы, Виктор, напишете книгу об афганской войне, несите её в “Москву”. С удовольствием напечатаю.

— А что, скажу я вам, хороший выбор! — произнёс поэт Егор Исаев. Всегда говорливый, с бурно шевелящимися губами, он работал в манере Твардовского. Сейчас же был краток: — Вы посмотрите, как он пишет! Мы выводим свои узоры на бересте, а он выводит узоры на металле, как на бересте!

Куравлёв слушал маститых мастеров, уделяющих ему столько внимания, и у него появилось чувство, что им распоряжаются, куда-то влекут, вставляют в какую-то оправу, как недавно хотел вставить в свою оправу Андрей Моисеевич у “Аэропорта”. И Куравлёв не сопротивился, отдавал себя потоку, в который вдруг превратилось время. Мотало людей, как в центрифуге, прибывая то к одному, то к другому краю.

— А скажите, Виктор Ильич, почему вы не вступаете в партию? Этот же вопрос задал вам секретарь ЦК Зумянин.

— Право, не знаю. Наверное, потому, что я богомный человек, люблю всякие посиделки, мечусь. Привык быть одиноким, — неуверенно ответил Куравлёв.

— Ну, мы все в каком-то смысле богомные люди, — улыбнулся Марков. — Но вы подумайте. Не стоит пренебрегать мнением секретаря ЦК.

Марков поднялся, пожал Куравлёву руку и, уже о нём забывая, сказал: — Юрий Васильевич, я просил вас ознакомиться со списком тех, кого мы выдвигаем на Государственную премию.

Куравлёв покинул “усадьбу Ростовых” и через подземный переход оказался в ЦДЛ. Первым делом увидел Макавина и рядом Петрову, которая, заметив Куравлёва, отвернулась. Ему вспомнилось, как когда-то они ужинали в ЦДЛ со Светланой. И почему им было суждено встретиться на краткий миг и так больно расстаться! “Я потерял любимую женщину. Но ведь остались дорогие друзья”, — горько подумал он.

В Пёстром зале орали, веселились, ссорились, пили водку. Пьяный Шавкута выкрикивал оскорбления какому-то верзиле, махал перед его лицом грязным пальцем:

— Ты, тупица бездарная, со мной за одним столом сидеть не смеешь! Я тебе честь сделал, с собой усадил, водку из твоих поганых рук принял.

Ты, тупой, своим детям неподтёртым будешь рассказывать, что с писателем Шавкутой водку пил, дурак необутый!

Верзила молча раскачивался, словно не слышал обидчика, а потом ударил Шавкуту кулаком в лицо. Из разбитого носа и губ потекла кровь. Шавкута отёр рукавом кровь, умолк, и они с верзилой снова уселись, продолжая пить водку.

Куравлёв подумал, что ЦДЛ, как огромный ковчег со множеством палуб, плывёт в каменном океане Москвы, светя одиноким витражным окном. На одной палубе загадочные мудрецы плетут коварные заговоры. На другой отпевают, кидают в гроб прощальную розу. На третьей с обожанием слушают и читают стихи. Где-нибудь в трюме задирают женщинам подолы, а потом вновь возвращаются на верхние палубы, чтобы плести заговоры, расквасить нос неудобному собутыльнику. А ковчег ЦДЛ продолжает плыть, светя готическим витражным окном. Принимает на борт утопающих, сбрасывает в океан мертвецов.

## Глава двадцатая

Куравлёв оставался в Пёстром зале за дальним столиком у стены с изображением Евтущенко, который ел тушёнку. К нему подсел Макавин, куда-то сослав Петрову, которая стала его неотступной подругой. Он принёс с собой две водки и бутерброды с колбаской. Вдруг заговорил пророческим голосом:

— Скоро ничего не будет, Витя, ни деревенской прозы, ни городской, ни военной, ни Союзов писателей, ни их секретарей. Ничего не будет!

— Что же будет?

— Взрыв! Чудовищной силы взрыв! Ничего не уцелеет, ни государства, ни границы, ни заводы, ни космодромы. Ничего! Всё разнесётся в прах!

— Страшный суд?

— Взрыв разнесёт партию, разнесёт культуру, разнесёт науку. Партийцы распозутся, как тараканы. Герои станут сморчками. Спилят все памятники, Тимирязева на Тверском, Пушкина, Маяковского, Мать Родину в Сталинграде!

— С чего ты взял?

— Все побегут, как крысы. Как в первую волну эмиграции. Чтобы избежать бойни! Пока не поздно, надо бежать. Ведь жили в эмиграции Шмелёв, Бунин.

— Но если будет взрыв, ты, писатель, должен написать этот взрыв.

— Нельзя написать взрыв, находясь внутри взрыва. Не уцелеешь. Взрыв можно описать, находясь на расстоянии от него.

— Например, в Париже?

— В Париже я встречался с удивительными людьми. Они знают подоплёку, а не ширму. Они знают очень богатых, могущественных людей, которые решают судьбу России, пока мы здесь рассуждаем о деревенской прозе. Эти люди уже пришли сюда, они здесь, они подпиливают сваи, на которых стоит Советский Союз. Скоро всё рухнет со страшным треском, который услышит мир. И содрогнётся! Тогда и возникнет литература взрыва. Мы с тобой, Витя, её провозвестники!

— Кто же эти могущественные люди? Может, Франк Дейч?

— Он жалкий гримёр, гримирует покойников. Но будет день, когда он явится в ЦДЛ, и все перед ним склонятся. Понесут его на руках, как избавителя.

— Не думаю, что доживу до этих счастливых дней.

— Не доживёшь, если не уедешь отсюда. Забирай семью и уезжай. Торопись! Времени осталось немного!

— Всё-таки я подожду. Ты мне из Парижа пиши.

Макавин мгновенно остыл. Ещё тяжело дышал, но уже смеялся.

— А ведь ты испугался, Витя!

— Ничто, Антоша, не кончено. Нервные писатели убегут, но армия с боевыми офицерами останется.

— Армии приходит конец. В Афганистан ушла армия, а назад вернутся наркоманы и мародёры. Начнут друг друга стрелять.

— Оставим это, Антон. Сейчас в актовом зале выступают поэты. Пойдём-ка послушаем русских поэтов.

— Пойдём напоследок.

Они покинули пьяное место и поднялись в актёрский зал ЦДЛ, где проходили творческие вечера. Двери в зал были закрыты. Слышались голоса чтецов, аплодисменты. У дверей их встретила Нина Васильевна, распорядительница творческих вечеров. Полная красавица с округлым милым лицом, очаровательным маленьким ртом, с глубоким вырезом на груди, от которой по желобку исходило тепло.

— Ниночка, посади нас с Виктором Ильичом. — Макавин положил руку на её мягкое плечо.

Нина Васильевна не убрала с плеча руку Макавина.

— Сейчас, мальчики, посажу.

Она ввела их в зал, сама села с краю, рядом посадила Макавина, а ещё дальше — Куравлёва. Зал был переполнен, погружён в полутьму. На озарённой сцене Вадим Кожин в своей утончённой манере представлял поэтов. Кожин был не просто глубокий критик и просвещённый литературовед. Он был учитель, пастырь, добрый опекун. Отыскивал в сумерках провинции одарённых русских поэтов, выводил их из тени, лелеял, возвращал, помещал в оправу своих драгоценных суждений. Вносил в ряд самых выдающихся русских поэтов, и ученики расцветали, становились кумирами, их обожала читающая русская публика.

— Сегодня нам интересны не те громогласные “горланы и главари”, которые собирают стадионы, и на трибунах сидят не ценители русской поэзии, а футбольные болельщики. Мы слушаем сегодня поэтов, принадлежащих к *тихой лирике*, но эта тишина звонче колоколов. Наши души открываются не вою сирен, а русскому колокольному звону.

Выступал поэт Юрий Кузнецов. Он был лобаст, сумрачен, тяжёл. Вдруг поднимал к небу лицо, чтобы его оросил невидимый дождь небес. Его стихи казались вытесанными из валунов. Каждая рифма откалывала от глыбы осколок, и из тёмного камня вдруг начинал проступать светящийся лик, почти прозрачный. Большой сияющий лоб, поднятое к небу лицо. Это был он, поэт, преображённый, окропленный небесным дождем, утративший земную материю:

*Было так, если верить молве,  
Или не было вовсе.  
Лейтенанты всегда в голове,  
Маркитанты в обозе.*

Кузнецов читал свой знаменитый стих “Маркитанты”, столь любимый публикой, которая находила в стихотворении пророческое предвидение. Две враждующие русские рати сходились в бою, истребляя друг друга, и когда никого не осталось в живых и поле брани покрылось бездыханными телами, на поле выходят маркитанты. Собирают с убитых кольца, золотые кресты, заветные ладанки.

*А живые воздали телам,  
Что погибли геройски.  
Разделили добро пополам  
И растались по-свойски.*

Зал аплодировал, Юрий Кузнецов стоял потупясь, казалось, посторонний этому залу, прочитанному стиху. Был где-то далеко, быть может, на высокой горе, откуда открывалось русское будущее, и кто-то невидимый витал над горой, дарил ему пророческий стих.

Выступал поэт Николай Тряпкин, заика, поющий нараспев свои сказания, которых слышался в глухих заонежских скитах, в тайных чащобах с последними старообрядцами.

*Летела гагара,  
Летела гагара  
На вешней заре.  
А там на болотах,  
А там на болотах  
Брусника цвела.*

В его сказах слышался скрип сосен, чудился запах смолы, дым срубов, в которых сжигали себя праведники, не принимавшие власть сатаны. И зал внимал, будто и он чувствовал приближение последних времён, устремлялся за поэтом-заикой в пустыни и дебри.

Куравлёв восхищался этими русскими песнопевцами, среди которых он жил, иногда пил водку, слушая длинные, от зари до зари, заонежские песни.

Сидевшая рядом Нина Васильевна поднялась, приложила свой пухленький палец к губкам и вышла. Через некоторое время поднялся Макавин, проведя ладонью по горлу, давая понять, что пресыщен *тихой лирикой*.

Куравлёв ещё послушал глубокие суждения Кожинова о тайнах русской поэзии, ему надоело, и он снова отправился в Дубовый зал.

Зал был полон, столики расставлены. За одним, под витражным окном Евгений Евтушенко развлекал двух женщин. Взмахивал пятерней с острыми длинными пальцами, сверкал адреналиновыми глазами.

Куравлёв печально пошёл из зала. Навстречу официантки несли подносы с шипящей вырезкой, с цыплёнком, бесстыдно раздвинувшим ноги, с карпом, отливавшим жирной позолотой.

Ковчег ЦДП плыл по каменным волнам Москвы. На его палубах любил, дрались, отпевали, и не было сигнальщика, который мог разглядеть встающую на пути огромную глыбу льда.

## Глава двадцать первая

Куравлёв видел, что жизнь, его окружавшая, выворачивается наизнанку. Всё, что пряталось внутри, притаилось, было почти невидимо, вдруг выступило наружу, мощно, шумно, назойливо, словно мстило за долгое прозябание. А то, что красовалось снаружи, величаво властвовало, требовало поклонения, теперь вдруг сморщилось, уменьшилось, норовило забиться в щель, чтобы его не разглядели.

Куравлёв чувствовал, что работает огромная машина. Подпиливает опоры, разносит вдребезги стены, перекусывает связи, раскалывает плиты. И вся незыблемая мощь государства начинает крениться, оползает, грозит рухнуть, засыпать живых своими уродливыми обломками.

Он видел очевидные признаки перемен, но не мог обнаружить глубинную волю, совершающую разрушение. Все видимые персонажи, их поступки, интриги, замыслы были понятны. Не понятен был глубинный замысел разрушения, те потаённые могущественные люди, о которых говорил Макавин.

Когда ещё в октябре Куравлёв наблюдал по телевизору встречу Горбачёва с Рейганом в Рейкьявике, ужаснулся тому, какое у Горбачёва страшное лицо, словно к нему приложили раскалённый шкворень. Между ним и Рейганом состоялось что-то ужасное, непостижимое, что изуродовало миловидное лицо Горбачёва, превратило в посмертную маску.

Куравлёв внимательно читал статьи главного теоретика “перестройки” Александра Яковлева — о гласности, демократизации, об общих европейских ценностях, о “социализме с человеческим лицом”. Но этим лицом и было ужасное лицо Горбачёва: когда он что-то невероятное пообещал Рейгану, с его лица сползла кожа, и обнаружились кости черепа.

Куравлёв видел, как хлёстко и весело истреблялись репутации неуклюжих советских вельмож. Молодые журналисты из программы “Взгляд” приглашали в эфир маршала, секретаря обкома или депутата и куражились, измывались своими шуточками, остроумными вопросами. Гость хотел быть модным, современным, неуклюже, косноязычно отшучивался, обнаруживал

свою косность, убогость. Весельчаки, натешившись, отпускали покусанного маршала, включали бойкую рок-группу, праздную победу.

Куравлёв видел, как люди, слыша треск балок, покидали прилепившиеся к балкам ласточкины гнёзда, стремились пересечь на другую, безопасную балку. Но и та начинала трещать. Люди оставляли прежних покровителей, видя, как те слабеют, и искали себе новых. Мир наполнился перебежчиками.

Однажды Куравлёва разбудил ночной звонок. Звонил друг Анатолий Апанасьев. Голос был панический, умолял, требовал:

— Приезжай сейчас же! Не смотри на часы! Бери денег и приезжай!

— Ты что, пьян? Проигрался?

— Речь идёт не об игре, а о жизни и смерти! Моя смерть будет на тебе! — Апанасьев задыхался, срывался на петушинный клёкот. Куравлёв представил круглые птичьи глаза друга, полные слёз.

— Ты где?

— В гостинице “Орлёнок”. Буду ждать в холле.

Куравлёв роптал на пьяного друга, но оделся, вышел в ночь и завёл машину.

Холл гостиницы “Орлёнок” лучезарно сверкал. После мрачной московской ночи здесь всё ослепляло, волновало, изумляло. Посреди холла стояла огромная ладья, напоминавшая греческий галеон. Розовый парус, античные медные шлемы вдоль бортов. Один из тех кораблей, что отправился в Троию. Вокруг расхаживали молчаливые швейцары, величественные портье.

Апанасьев высочил из-под корабля, словно прятался от строгих служителей.

— Витюша, пришёл? Настоящий друг! К кому мне ещё обратиться? Я воззвал к тебе! — Апанасьев был пьян, но не тем тупым опьянением, когда пьяница мрачнеет, исполнен угрюмой злобы. Нет, он был в восхитительном полёте, был вдохновлён, жаждал общаться. Его круглые глаза стали шире, голубее. В них переливался драгоценный сказочный мир с галеоном, медными шлемами, переливами света. В этом сказочном мире великолепен был швейцар с величественной бородой, девушки, сидящие на бревне, изображавшем причал галеона, бармен, который ставил на стойку бутылки пива с горлышками в серебряной фольге, с фарфоровыми пробками, отлетавшими после нажатия пружины.

Апанасьеву не терпелось раскрыть перед Куравлёвым этот обретенный им мир, чтобы Куравлёв, заточивший себя в четырёх стенах, восхитился вместе с ним.

— Я сделаю тебе признание, Витя, я влюбился. Наконец, после стольких неудач и разочарований! Эта девушка здесь, в отеле. Она сидит вон на том причале, с другими, будто ждёт, когда приплывёт за ними корабль под алыми парусами. Она прекраснее их всех. Какое одухотворённое лицо, тонкая переносица, как на иконах. А запястья, запястья какие, с крохотной синей жилкой, которую так люблю целовать. А щиколотки, хрупкие, как у бегущей газели. Я так люблю их касаться, когда надеваю ей туфельки.

— Где же она? — Куравлёв смотрел на девушек с голыми ногами, в лёгких прозрачных блузках.

— Она сейчас ушла. Её увёл какой-то иностранец. Но она скоро вернётся и станет моей. Она очень образована, очень духовна. Она знает Рёриха. Говорит, что я похож на тибетского монаха. Мне никто никогда не говорил, что я похож на тибетского монаха. Я отсюда её заберу. Она пойдёт со мной, она согласна. У меня выйдет книга, и появятся деньги. Мы будем жить скромно. Я и она. Это счастье, Витя, долгожданное счастье!

К девушкам подошёл господин, что-то весёлое им говорил. Девушки повскакивали, стали в ряд, чтобы господин мог хорошенько рассмотреть их ноги, грудь. Все улыбались, прельщали господина. Тот походил, не решаясь выбрать, так были они хороши. Выбрал одну и быстро удалился к лифту.

— Это ничего, она не такая, — смотрел им вслед Апанасьев. — Она вернётся, и я тебя представлю! — Апанасьев блаженствовал. Он пребывал в волшебной сказке, куда привело его поэтическое воображение. В сказке, более подлинной, чем тот мир, в котором они все находились.

— Я скоро начну новую книгу. Поверь, мою лучшую книгу! Она называется “Последний часовой”. Эта книга про меня, про тебя! Мы последние часовые, Витя! Все разбежались, одних поубивали враги, другие сдались в плен. Город беззащитен. В нём наши любимые женщины. Та, о которой я тебе говорил. И мы стоим насмерть. Потому что смерти нет, а есть подвиг. Смерти нет! Есть Родина и есть любимая женщина. И мы плечом к плечу стоим, и погибнем с честью, на посту! Погибнем за Родину, Витя, и за наших прекрасных женщин!

Он задыхался. Он уже творил. Писал свою книгу, и Куравлёв верил, что книга прекрасна, написанная здесь, в лучезарном голубом свете, где плывёт галеон под альбыми парусами, и его любимая тянет к нему руки с хрупкими запястьями.

— А ты знаешь новость? — Апанасьев перестал мечтать и стал вертеть головой, чтобы их не подслушали. — Фаддей-то Гуськов вступил в партию. Сегодня мне показал новенький партийный билет. “Зачем тебе? — Для общего дела! Мне дают журнал “Литературное обозрение”. Теперь у нас будет свой журнал. Жертвую собой ради вас”.

— Фаддей решил успеть на отплывающий пароход. Колеса крутятся, а пароход на месте. Скоро Фаддей сдаст билет.

— Но всё-таки это поступок, согласишься. За общее дело! — Апанасьев умолк, стал сердитым, злым. — Денег принёс?

— Принёс.

— Давай!

Он вырвал у Куравлёва деньги, побежал в закуток, где человек с заспанным лицом обменял бумажки на монеты. Захватил в баре бутылку пива.

— Пойду сыграю! — Апанасьев метнулся куда-то в сторону, где в темноте светились игральные автоматы. Куравлёв отправился следом.

В чёрном коридоре стояли игральные автоматы. Они волшебным образом сияли, как павлиньи хвосты. В их стеклянных витринах открывалось подводное царство с рыбами и кораллами, автомобильные треки с гоночными, яркими, как цветы, машинами, колоды игральные карт с магическими королями, вальетами, дамами. Из автоматов, как из шарманок, лилась музыка. От неё начинала кружиться голова, как от сладкого угара.

Апанасьев устремился к автомату, где плавали рыбы, шевелились морские звёзды, волновались водоросли. Уселся на стульчик, отодрал с пивной бутылки фольгу, открыл чмокнувшую пробку, сделал глоток и забыл о Куравлёве. Сыпал монеты в щель, нажимал клавишу. Кружились цифры, звонко высыпались монеты. Их было то больше, то меньше. Апанасьев волновался, добавлял монеты. Рыбы плавно скользили, похожие на серебряные полумесяцы. Разом замирали, а потом плыли в другую сторону.

Лицо Апанасьева было озарено свечением морских глубин. Глаза стремились сквозь водоросли, минуя рыб, мимо перламутровой раковины, в бесконечные глубины. Пучина манила его, утягивала в бездну, где не было рыб, кораллов, цветущих актиний, а была непроглядная пустота. Из неё раздавался зов, кто-то звал к себе Апанасьева. Он на секунду отвлекался, делал глоток пива, кидал монеты и снова устремлялся в бездну. Глаза его были расширены, он что-то видел такое, что было недоступно Куравлёву. Он рисковал, он играл не со смертью, а с чем-то более грозным, чем смерть. Он покидал морскую пучину и летел в космос к иным мирам. Они звали его, сулили открыть великую тайну. Он погибал, очарованный этой тайной. Она ему не давалась, ускользала, едва он к ней приближался.

Куравлёв понимал, что является свидетелем безумия. Оно стало захватывать и его. Музыка пьянила. Он смотрел, как проплывет, качая плавниками, электрический скат, и начинал грести руками, чтобы поспеть за рыбой. Деньги у Апанасьева кончились. Бездна его отпустила, пометив, чтобы он вернулся и снова начал игру с потусторонней стихией.

Обессиленный, поникший, Апанасьев оставил автомат и вышел на свет. Он выглядел измождённым, словно из него слили кровь.

— Довезёшь меня?

— Конечно. Ты ни на что не годен.

Девушки на причале сверкали голыми ногами, растёгивали блузки, чтобы была видна грудь. Апанасьев не смотрел в их сторону.  
— Пойдём, — сказал он.

## Глава двадцать вторая

Куравлёв медленно подбирался к книге, которую не решался начать. Поездки в Афганистан не хватало для книги о войне. Он находил в Москве недавних участников войны, “афганцев”, и те делились своими воспоминаниями. Он познакомился с офицером спецназа, невысоким тихим карелом, который убил Амина во дворце, у резной стойки бара. Десантник, который теперь работал на тепловозе, рассказал о высадках в горах, откуда десантники спускались в долины и громили противника. Он встречался с водителями грузовиков, которые шли по Салангу, доставляя в армию топливо и снаряды, а их подстерегали засады. Враг из крупнокалиберных пулемётов сжигал колонны. Его удостоил встречи бывший командующий армии. Он рассказал о своей первой поездке на фронт, где увидел убитых солдат, которых посылал в бой.

Куравлёв слушал рассказы о жизни на заставах, о вертолётных ударах, об операциях в Герате и Джелалабаде. В этих рассказах присутствовали и те, что поведаль ему усталый подполковник в Кандагаре. О кастрированном вертолётчике. О четырёх солдатах, которые сгорели в БТРе, но не сдались. О перебежчике, чью голову ночью подбросили в окоп. И конечно, здесь были сюжеты о разрушении Мусакалы и охоте на караваны в красной пустыне Регистан.

Материалы были собраны. Оставалось преодолеть последние страхи и поймав удар сердца, с которого начнётся роман.

Куравлёв весь день провёл дома, за рабочим столом, составляя план будущей книги. Выстраивал сюжет, помещал в невидимые хитросплетения сюжета образы героев, их жизни и смерти. К вечеру отправился отужинать в ЦДЛ и оказался за одним столиком с Фаддеем Гуськовым. Обычно ворчливый и сумрачный, с мрачно опущенной нижней губой, Гуськов казался вдохновлённым:

— А что, Фаддей, верно, что ты вступил в партию? — спросил Куравлёв, давая понять, что это событие широко обсуждается в писательском мире. — Покажи партбилет.

Гуськов извлёк и показал новенькую книжицу Куравлёву. Держал её бережно, поворачивая из стороны в сторону, как зеркальце, играющее зайчиком света.

— Теперь я получу журнал “Литературное обозрение”. Это будет новый имперский журнал. Он будет проповедовать империю. Не ту, которая отходит в вечность, а новую, которая идёт ей на смену. Россия — империя, таковой и останется, под двуглавым орлом или красной звездой, или под каким-нибудь евразийским барсом.

— Ты уверен, что империя сохранится? Слишком много охотников её разрушить.

— Угроза советской империи мнима. Надо арестовать и расстрелять полтора десятка смутьянов, и всё успокоится. Мы приходим в партию, полную слабых людей. Мы наполняем её сильными людьми, способными любой ценой спасти государство. — Гуськов говорил властно, от лица волевых людей, готовых взять власть в пошатнувшейся стране.

— Ценой расстрелов?

— Малой кровью спасается кровь большая. Николай Первый повесил декабристов и обеспечил империи век тишины. Николай Второй побоялся пролить малую кровь Керенского и Ленина. И мы получили кровь гражданской войны и кости ГУЛага.

— Сейчас нас забрасывают костями ГУЛага. Не боишься, что и тебя забросают?

— Нужна воля, имперская воля. Мы ею обладаем.

Гуськов говорил от имени многих сильных людей, пополняющих партию в час национальной тревоги. Он держал в руках партбилет, который был для



него символом власти, мандатом, который вручали жившие до него, построившие небывалую красную страну между трёх океанов. Гуськов принимал их завет. Отринул свои филологические пристрастия, увлечение Андреем Белым. Был в кожаной комиссарской тужурке, с маузером. Был готов сражаться за имперскую красную Родину.

Спрятал в карман свою партийную книжечку и оставил Куравлёва, не скрывая своего превосходства, глашатай новой империи из журнала “Литературное обозрение”. Куравлёв остался один, чувствуя грохочущую центрифугу, разбрасывающую друзей по разным концам вселенной.

Сердце его, разрезанное и зашитое в грудь, продолжало болеть.

### Глава двадцать третья

Куравлёв писал свою книгу. Не заметил, как прошёл Новый год с ёлками на углах. Как начались мартовские московские оттепели с летящими сырыми облаками. Как в скверах в проталинах открылась чёрная земля, а вершины деревьев из зимних, серых стали розовыми и золотыми.

Куравлёв жил в ином пространстве и времени. Подлинное время, где присутствовали его дети, жена, раздавались звонки, кто-то хотел общаться, видеть его, — это время потускнело, отодвинулось, всё в нём померкло. События казались мнимыми и несущественными. Время и пространство, возникшие в романе, стали подлинными, стали временем его второй, главной жизни. Всё недавнее казалось призрачным. И то безумное пророчество Макавина, сулившего взрыв. И Апанасьев, который из милого шутника, пишущего тонкие насмешливые книги, превратился в большого игрока, пьяницу, посетителя уродливых притонов. И Гуськов, романтик, завсегдатай библиотек и лекториев, вдруг позабыл Андрея Белого, вообразил себя комиссаром с маузером и партбилетом и был готов, как и его предшественники, арестовывать и ставить к стенке Павла Васильева, Есенина, Гумилёва, Пастернака, Ахматову. Комично и отвратительно, но несущественно.

Куравлёв писал штурм дворца Амина, когда спецназ пробивался по лестнице, роняя рожки автоматов, кровавые бинты, кольца гранат. И на верхнем этаже у золочёной стойки бара маленький карел пустил Амину в живот очередь. Писал о Кандагарской заставе, где днём проходили колонны, и рыжий сапёр вгонял шуп в красноватую землю, а ночью разгорался бой; над виноградниками висели осветительные бомбы, похожие на жёлтые дыни, а рыжий сапёр без ног бредил в полевом лазарете. Он писал о Мусакале, казавшейся издали белым цветком, а после арналёта превратившейся в чёрное тряпье, среди которого, привязанные к бревну, повисли убитые пленники. Он описывал пустыню в красных песках, бубенцы на шее верблюдов, и как медлительные животные, потеряв хозяев, равнодушно ушли в пустыню.

Куравлёв писал, стараясь успеть неизвестно к какому сроку. К тому ли, когда оборвётся его жизнь, или к моменту взрыва, который разнесёт в клочки все книги, все отношения, всю людскую память. Лишь изредка отрывался от стола, оглядываясь не узнающими мир глазами. Или вдруг задыхался от боли, которую зашили в груди.

В кабинет вошли дети, старший — Степан и младший — Олег, чуть позади брата.

— Что угодно? — спросил Куравлёв.

Дети молчали. Потом младший выпалил:

— Папа, Игорь Игнатович говорит, что ты конформист. — Олег желал быть заносчивым, но робел.

— Что имел в виду Игорь Игнатьевич? — спросил Куравлёв.

— Он говорит, ты поддерживаешь преступную власть, которая принесла народу много страданий.

Разговор предстал серьёзный, и Куравлёв, увлечённый романом, был к нему не готов.

— Какие такие страдания имеет в виду Игорь Игнатьевич?

— За что посадили нашего дядю Колю, и он чуть не умер от чахотки?

Дядя Коля был бабушкиным братом, худощавым, с серым лицом в табачном дыму. Он рисовал, был приближен к “Миру искусств” и отсидел в северном лагере десять лет.

— Дядя Коля мне признавался, что хотел воевать за белую армию. Это просочилось наружу.

— А за что посадили Петра Титовича? Мучили его, выливали ему на голову нечистоты.

Пётр Титович, дядя Петя, был вторым братом бабушки. Его то сажали, то отпускали. Когда в последний раз ему сообщили, что отпускают на свободу, у него случился разрыв сердца.

— Пётр Титович был буржуа. Имел дело с Нобелем. Владел нефтяными акциями на Каспии. Власть расправлялась с капиталистами.

— А за что посадили тётю Катю? Она не хотела служить в белой армии и не владела нефтяными акциями.

Сына не удовлетворяли ответы, и он становился запальчивей.

— Тётя Катя окончила Бестужевские курсы и была, по тем временам, нежелательным элементом. Она поплатилась за это. В Красноярском лагере она выжила потому, что зимой на капустном поле собирала капустные корешки.

— А за что тётю Веру сослали в уральский лагерь? Она лечила людей, спасала их от смерти. За что?

— Это было жестокое время. Кончилась гражданская война, вспыхивали восстания. Государство свирепо боролось за своё существование.

— Зачем же ты его поддерживаешь? — спросил старший Степан, всё это время молчавший.

— За это государство мой отец, а твой дед отдал жизнь под Сталинградом. Это государство выиграло войну и не позволило немцам нас уничтожить. Это государство построило университеты, космодромы, великие заводы. Без них мы бы стали колонией.

Куравлёв чувствовал, что не находит верных слов, повторяет избитые аргументы, с которыми давно расправились бойкие говоруны из программы “Взгляд”.

— Скажи, отец, зачем ты воспеваешь грязную войну в Афганистане? — спросил старший Степан, и его лицо выражало сострадание то ли к заблудшему отцу, то ли к погибающим в Афганистане солдатам.

— Она уж стала грязная? Ты же недавно хотел пойти добровольцем на эту войну. Она тебе напоминала испанскую.

— Я многое понял, отец. Я читал честные репортажи об этой войне. Я вступил в Народный фронт. Там мне объяснили, что Сталин был преступник. Ведь ты сталинист, папа? Тебе не стыдно?

— Сталин не пустил немцев к Москве, разгромил их под Сталинградом и взял Берлин. Маршал Жуков был сталинист. Шолохов был сталинист. Королёв сталинист. Гагарин сталинист. Если бы не Сталин, мы бы сегодня говорили по-немецки и работали скотниками на немецкой ферме.

— Если бы не было Сталина, то Пётр Титович был бы жив! И тётя Катя была бы жива! И дедушка Андрей был бы жив! — Степан винил Куравлёва в гибели любимых людей, и Куравлёв не находил слов, чтобы оправдаться. Чувствовал, что между сыновьями и им прочерчена всё та же борозда, которая поделила мир на две части.

— Быть может, это так, — сказал Куравлёв. — Многие были бы живы, но умерло бы ещё больше, умерли бы все, весь народ. Ваши новые друзья, ваши наставники, ваш Игорь Игнатьевич расшатывают государство, и если оно упадёт, на улицах польётся кровь, и ты, Олег, поедешь на велосипеде по рекам крови. А ты, Степан, погибнешь не на поле брани, как твой дед, а от пули фанатика с маузером и партбилетом! Жалею, что я так мало с вами разговаривал. С вами говорили другие. Но, может, ещё не поздно?

— Не хотелось бы, папа, чтобы нам за тебя было стыдно! — упрямо сказал младший Олег. И что ему мог возразить Куравлёв, если у того в наушниках с утра до вечера звучали песни угрюмого Цоя, требующего перемен? И такое бессилие почувствовал Куравлёв, что ударил по столу и крикнул:

— Уходите!  
На крик прибежала жена:  
— Степа, Олег, почему вы кричите?  
— Это папа кричит. Ему не нравится, когда его называют конформистом! — сказал Олег. Дети повернулись и ушли, а Куравлёв без сил остался сидеть в кабинете.

### Глава двадцать четвёртая

Книга была тяжела, как слиток. Гораздо тяжелее, чем стопка бумаги. Она была тяжела, потому что в ней уместилась война. Была тяжела, потому что в ней уместился отрезок русского времени, самого тяжёлого из всех времён. Её не под силу было поднять одному человеку, как не под силу было поднять государство.

Куравлёв собрал машинописные страницы, уложил в папку, завязал те-сёмки и отправился в Союз писателей к Маркову. Тот был занят подготовкой к Съезду писателей. У него были люди. Он рассеянно принял у Куравлёва заветную папку:

— Позвоните через неделку-другую.

Куравлёв разочарованно отправился в Дубовый зал и встретил Лишустина, наливающего из графинчика водку:

— Витюха, подсаживайся. Составь компанию. — Бородка Лишустина празднично золотилась, синие глазки радостно мерцали, глядя на стеклянный графинчик.

Куравлёв был рад обществу друга. Заказал обед и выпил с Лишустиним водки.

— Скоро, Витюха, будем прощаться. — Лишустин смаковал водку, будто вкушал её последний раз.

— Помирать что ли собрался?

— Выживать собрался, Витюха, выживать. Мы с тобой сейчас мясо едим с подливой, а скоро время придёт, когда будем вилок тыкать в пустую тарелку.

— Зачем в пустую? Карпа закажем.

— Конец заказам приходит, Витюха, конец. Голод будет. — Лишустин артистично вздохнул.

— Да откуда голод? Ещё кое-что в магазинах осталось.

— Последнее доедаем. Голод идёт. Кто помышленее, из деревенских, к голоду готовится. А кто из городских, которые думают, что манная каша в поле растёт, того голод сморит. За краюху хлеба золото родовое в магазин понесут, бриллианты, мебель из карельской берёзы, библиотеки, которые деды собирали. Большому голоду быть.

Куравлёв сначала решил пошутить над Лишустиним, но не стал этого делать. Лишустин был из северной деревни, которая в худые времена голодала. Ели лебеду, коровьи лепешки. Мать-вдовица водила маленького Лишустина по деревням, стучала в окна, просила подавание.

— И как же ты спастись задумал?

— А так и задумал. Пока вы тут кто в Париж, кто в Афганистан ездили, я себе избушку купил под Рязанью. Глушь, бездорожье. Деревня в лесу стоит, половина домов заколочена.

— Что же, ты туда с семьёй жить переедешь?

— Перееду. Сяду на землю. Купил мотоблок, распашу, посею картошку, лук, огурцы, помидоры. С картошкой не пропадёшь, из подпола доставай и доставай. Кур заведу, кролей. Ты знаешь, я охотник, рыбак. Всегда с рыбкой будем, тетёрку, утку добуду. Самогон свой. Дрова за домом растут. Поеду, Витюха, спастись. Глядишь, и ты ко мне заглянешь. Картофельной похлёбкой с зайчатиной всегда угощу.

Лишустин говорил так, словно всё у него было продумано и готово к переезду. Куравлёва задевало, что всё это Лишустин скрывал, не открывался другу. Но прощал Лишустину, зная суеверность друга.

— А как же твоё писание? Ты книгу о расколе задумал.

— Буду писать. Летом — поле, зимой — книга. Я к этой книге семнадцать лет готовился, в архивах рылся, столько грамот перечитал. Теперь готов. Будет книга о русском расколе и о смутных временах. Такое никто не напишет.

— Совсем, как сегодня. Пиши с натуры.

— Опять великий раскол начинается. В народе трещина. Из этой трещины змей выйдет. Станет жалить и тех, и других, и многих изжалит.

Лишустин поднял вверх палец, стал похож на проповедника с голосом древнего старца.

— Ну, ты, как монах-прорицатель, — усмехнулся Куравлёв. — Люди о тебе прослышат и начнут стекаться. “Отче, научи, что будет. Как нам от змея спастись?”

— А и может быть. Вот вы меня про Горбачёва не слушали, что меченый, то есть змей. А он много народу изжалил.

— Что ж нам теперь, погибать? — Куравлёву было тревожно. Наступали такие времена, когда простые уверения теряли цену, а обретали цену пророчества.

— Погибать будем, покуда чудо не случится. Человеческими усилиями раскол не закрыть, трещину не замазать. Только чудо спасёт.

— Какое же чудо?

— А такое, какое является, когда России не быть. Народ разбежался, царь убит, поля в лебеду, а случается чудо, и Россия встаёт краше прежнего. Сейчас Россия может навзничь, люди друг друга бьют. Но случится чудо, и Россия станет могучей, и всё зло от неё отступит. Люди народятся сильные, добрые, честные. Одно слово, праведники. Поля засеяны, царь мудрый, и советники вокруг него с ясными головами.

— Такие, как ты?

— А хоть бы и я, — ответил Лишустин, пропуская мимо ушей. — Понимаю историю.

— Тогда тебя из деревни в Кремль привезут.

— А я и поеду.

— А кроликов на кого?

— Жена присмотрит.

— Послушается царь твоих советов, и станет народ, как кроликов, разводиться.

— И то дело!

Они рассмеялись. А Куравлёв подумал, что их дружное маленькое сообщество, которое недавно за этим столом признавалось друг другу в вечной любви, в неразлучной дружбе, теперь рассыпалось. По нему прошёлся раскол. Макавин едет за славой в Париж. Апанасьев сжигает свою жизнь в вине и в игре. Гуськов размахивает партбилетом и хочет строить империю в захудалом журнальчике. Лишустин уходит в скит, и там его не отыщешь. А он, Куравлёв, остаётся один, среди тёмной бури, чей гром уже раздаётся вдали. Он потерял любимую женщину. Потерял друзей. Потерял детей. Теперь он теряет Родину.

Через день ему позвонили из секретариата Союза:

— Виктор Ильич, с вами желает переговорить Георгий Макеевич.

Голос Маркова, обычно сдержанный, исполненный тихого величия, теперь был взволнованный, воспалённый:

— Вы сами не понимаете, какую книгу вы написали! Мы ждали подобной книги. Она всё не появлялась. И вот появилась! Честная суровая книга о войне, о советском человеке, о служении Родине! Эту книгу должна прочитать вся страна. Мы издадим её в издательстве “Роман-газеты” тиражом в миллион экземпляров!

## Глава двадцать пятая

И вот она появилась, в мягкой малиновой обложке, с фотографией, где Куравлёв смотрит в иллюминатор вертолёт, а в круглом стекле видны лепные постройки, крохотные наделы в оправе глинобитных оград. И крепкая надпись: “Охотники за караванами”.

Это была настоящая известность. Результат, о котором мечтает каждый писатель. Страдает над книгой, в муках приближает конец романа, торжествуя, передаёт роман редактору, который, измотанный текучкой, вяло читает рукопись, ставя на неё стакан недопитого чая. Скучно и буднично выходит заурядная книга и тут же теряется среди подобных, без рецензий, без внимания публики. Ещё один горький опыт честолюбивого неудачника.

Здесь всё оказалось иначе. Редактором и издателем выступило само государство. Появилась рецензия в “Правде”, крупным подвалом, где печатались рецензии на произведения Шолохова или Бондарева. В библиотеках проходили читательские конференции. Его приглашали в театры, на киностудии. Режиссёры желали поставить по книге спектакли и снять кино.

Когда он появлялся в ЦДЛ, чуткие и всеведущие официантки предлагали ему лучшее место. Писатели кидались навстречу, поздравляли. И смехотворными выглядели несколько моралистов, по-прежнему избегавших его, не подававших руки. И совсем жалкими выглядели рецензии Натальи Петровой во второстепенных газетах с названиями “Охотник за черепами” или “Мастер цинковых дел”.

Это и был тот таившийся в недрах его судьбы успех, который бурно вырвался на свободу.

Но вскоре Куравлёв стал замечать, что вокруг него происходит борьба. Всё копошилось, хватало цепкими лапками, тянуло в свою сторону, как муравей личинку. Ещё недавно он считал себя вольным художником, свободным романистом, беспартийным весельчаком. Но афганская поездка, роман “Охотники за караванами” изменили жизнь. Его стали втягивать в политику, в клейкое варенье, в котором вязнет неосторожная оса. В политике соперничали две могучие группировки. Одна отстаивала основы, которые казались незыблемыми. Отстаивала тяжеломерно, с угрозами, с обветшалыми высокомерными доводами. Другая сокрушала эти основы легко, насмешливо, пела песни, сочиняла стихи, плодила анекдоты, требовала новизны, честности, свежести. Куравлёва неуклонно вовлекали в свои ряды государственники, поощряли, награждали незаметными льготами, готовили его себе на смену.

Он уже навсегда порвал с обходительным Андреем Моисеевичем. Раздружился с переводчиком Сашей Кемпфе. Настроил против себя Наталью Петрову, узревшую в нём главного врага перестройки. Отпугнул робкого Марка Святогорова, старавшегося вильнуть в сторону при виде Куравлёва. На очереди были другие, ещё не видимые враги, которые не замедлят явиться.

Куравлёв всё твёрже, всё сознательнее вставал на сторону государства, которое потрескивало под напором горбачёвской подлой политики. Но, странное дело, его не оставляло ощущение, что две эти враждующие силы растут из одного корня, питают друг друга. Ими управляют одни и те же потайные жрецы, лукавые маркитанты. Подают свои лукавые советы и Горбачёву, и Ельцину, делая их схватку всё злее и беспощадней. Ему всё отчетливее мерещился заговор, зреющий в кабинетах кремлёвских дворцов. Он вычислял заговорщиков. Как тайный разведчик, хотел обнаружить тайные замыслы. Один, своей писательской прозорливостью, он видел существование двух центров силы. Хотел обнаружить тайные, соединяющие их связи. Надеялся их разомкнуть, остановить взрыв, спасти государство.

Куравлёва пригласили на митинг в поддержку Советского Союза, который собирался реформировать Горбачёв, после чего грозил неминуемый распад. Митинг собрался на Манежной площади в хмурый летний денёк. У гостиницы “Москва” была сколочена трибуна. На ней ходили распорядители в красных повязках. Вся площадь до краёв, до туманного за дождём Манежа была полна людей. Крепкие ладные мужчины, одинаковые в своей монолитной сплочённости, терпеливо, под дождём ожидали начало митинга.

— Слушатели всех военных академий, — сказал по секрету распорядитель с повязкой. — Оделись в гражданское и явились по приказу.

Куравлёв любовался спокойными сильными лицами офицеров, за каждым из которых стояли полки, дивизии, армии. Вся военная мощь страны, которая разместила свои гарнизоны по всей планете, наводнила океан могучими

кораблями и подводными лодками, запустила на орбиту группировки космических спутников. Эта мощь была неодолима. Ей не страшна ватага московских крикунов и насмешников.

— Меня просили представить вас. — Распорядитель повёл Куравлёва за угол трибуны. Здесь в окружении охраны стояли министр обороны Язов и председатель КГБ Крючков. Куравлёв сразу узнал их и смутился. Он оказался рядом с могущественными носителями власти, встреча с которыми прежде была невозможна. Теперь же она состоялась.

Его ввели в магический круг, куда простому смертному путь был заказан. Он же вошёл в этот круг и приблизился к потаённому центру, в котором гнезвился заговор.

На маршале Язове было кожаное пальто, которое казалось ему тесным. Тяжёлый, с осевшими плечами, с грубым красным лицом, маршал пожал Куравлёву руку мокрой от дождя тяжёлой рукой:

— А то распоясались, черт знает что! Направить бы их в Афганистан, пусть поймут, как жизнь устроена. А вы молодец, хорошая книга. Я в Кандагаре попал под обстрел. Надо войска выводить.

Куравлёв хотел использовать эту встречу, чтобы всемогущий министр указал ему незримые связи, соединяющие два враждующих центра. Их вражда казалась мнимой, удары, как в театре пощечины, издавали звук, но не причиняли вреда.

Но Язов повернулся к ординарцу, который протянул ему трубку рации. Быть может, связал с авианосцем в Тихом океане.

Крючков был маленький, подвижный, с круглым голым лицом, на котором, казалось, никогда не росли волосы. Он переминался с ноги на ногу, весело оглядывался. Чем-то напоминал китайского божка, добродушно качавшего головой. Протянул Куравлёву маленькую ладонь, сухую, хотя шёл дождь. Эта маленькая сухонькая рука управляла громадной службой, которая, как невидимка, стискивала страну между трёх океанов. Работники этой тайной службы проникали в семьи, в учреждения, в академии, в газеты. Незримо находились во всех мировых столицах, просачивались в неприятельские штабы и гарнизоны. Эта маленькая сухая ручка могла совершать перевороты. Повинуясь ей, карел из спецназа застрелил Амина, а безобидный носатый Карпович, выпивая в Пёстром зале, вёл слежку за писателями. Служба, которой руководил Крючков, была наследницей той, что отглавливала белых заговорщиков, расстреляла Николая Гумилёва, отправила в лагеря милую тётю Катю и вечно курящего, так и не взявшего в руки кисть дядю Коло. Этой службой руководили Ежов и Ягода, учинившие зверские расстрелы. В ней трудился Берия, согнавший в “шарашки” лучших математиков и физиков и построивший атомную бомбу. Разве можно противостоять этой службе какому-нибудь Собчаку или Коротичу? Разве с ней посмеет состязаться грубиян и пьяница Ельцин?

Куравлёву хотелось получить от этого всезнающего человека намёк на тайные связи, которыми опутаны два враждующих центра, две матерчатые куклы. Их мнимая борьба скрывала подлинную сердцевину заговора. Рождала рукотворный хаос, в котором гибло государство.

Он хотел обратиться к Крючкову с осторожным вопросом, но тот опередил его:

— Нам нужно больше писать о героях страны, а то сделали героем торгаша и певичку. Хотя, при умелом использовании, и певичка сможет добыть секрет атомной бомбы.

Ничего особенного не сказал Крючков, но в этом обыденном замечании Куравлёв усмотрел спрятанный смысл. Стоит как следует вдуматься в каждое слово, и можно нащупать заговор.

Митинг открывал любимец публики актёр Михаил Ножкин. Он взошёл на трибуну, упёрся в поручень, оглядел несметное многолюдье, а потом лихо крикнул:

— Здорово, мужики!

И площадь радостно ахнула, отозвалась на лихое приветствие.

Ножкин кратко сказал, что советская интеллигенция никогда не допустит осквернения священных имён героев, проведёт пятернёй по сальным сулам осквернителей. Поднял кулак:

— Союзу быть! — и легко сбежал с трибуны под одобрительный рокот.

Выступал космонавт, рассказывая, как с орбиты смотрится наш прекрасный Советский Союз. Кажется, на ладони держишь Туркменский канал, Байкал и Северный полюс.

— Союзу быть! — закончил он своё выступление.

Когда пришёл черёд выступать Куравлёву, он в двух словах рассказал об Афганистане. На этой площади, сказал он, стоят герои его будущих книг.

— Да здравствует Советский Союз!

Не слишком бурно, но ему аплодировали. Митинг завершился быстро. Крючков и Язов сели в машины. Площадь стала рассасываться, как рассасывается сахар в чае, почти мгновенно опустела. Куравлёва поразило, с какой торопливостью офицеры покинули площадь. Как испарились вместе с ними их полки, дивизии, армии, канули корабли и подводные лодки.

Он стоял один, слыша хруст разбираемой трибуны. Пустая площадь металлически блестела в дожде. Мучнисто белел Манеж.

Куравлёв медленно поднимался по улице Горького к Пушкинской площади. Мимо телеграфа со стеклянным глобусом. Мимо памятника Юрию Долгорукому, театрально простёршего руку. Мимо Театрального общества и магазина "Армения". Каждый раз, когда он приближался к площади, он смотрел на угловой сталинский дом, облицованный бурым гранитом. Что-то в этом доме было привлекательное, почти родное, соединявшее его то ли с позабытым прошлым, то ли с не наступившим будущим.

На улице было беспокойно. Движение машин перекрыто. Люди перебежали с одной стороны на другую. Несли свёрнутые плакаты, дровки со скрученными флагами.

Куравлёв остановился у гранитного дома, наблюдая людскую сутолоку.

Вдалеке у Белорусского вокзала клубилось тяжёлое облако, наливалась, темнело, набухало ливнем. Туда устремлялись люди, выскакивали из метро, из окрестных переулков, лились непрерывными ручьями. У всех были похожие, нетерпеливые лица, словно они торопились на весёлое представление. Однако эта весёлость была колючая, электрическая, искрила. Незнакомые люди улыбались друг другу, торопились, словно представление могло начаться без них.

У "Армении" и Театрального общества скапливались войска. Сначала их было немного, но подкатывали автобусы, из них выгружались солдаты в касках, с металлическими щитами. Командиры в мегафон раздавали команды. Солдаты выстраивались, перегораживали улицу Горького, закрывали своими щитами спуск к Кремлю.

Куравлёву казалось, что он стоит у высоковольтной вышки. Вокруг изоляторов потрескивает, дрожит лиловое пламя, и скоро проскочит огромная искра.

Газетные статейки, карикатуры, обмен насмешками, злыми оскорблениями перерастали в прямое столкновение. В распри, где в ход пойдут кулаки и дубины.

Куравлёву было тоскливо. Его пугали солдаты в касках, с железными щитами, вставшие стеной на любимой площади. Он не любил тот стукот у Белорусского вокзала, который грозил натиском, слепым стремлением.

Видел, как грозовая туча у Белорусского зашевелилась, разбухла, медленно двинулась по улице Горького к Пушкинской. Солдаты нервничали, перестраивались. Хрипло, по-собачьи, лаяли мегафоны.

Можно было разглядеть демонстрантов. Они несли перед собой огромную трёхцветную ткань, перегораживая всю улицу Горького, как рыбаки тянут бредень. Загоняют в него рыбу. Трёхцветный флаг сгребал людей с тротуаров, вливал в поток.

Они уже миновали площадь Маяковского, приближались. Куравлёв ещё издали узнавал демонстрантов. Впереди, держась за флаг, вышагивал Ельцин, большой, светловолосый, набычив голову. Рядом шёл академик Сахаров, сбивался, старался поспевать за Ельциным, не нарушать шеренгу. Куравлёв

узнал Собчака, его маленькую кошачью головку. Галину Старовойтову, ступавшую грузно, выдавливая животом флаг. Станкевича, который был славен тем, что, спускаясь в шахту, мазал себя углем, как истовый шахтёр. Отца Глеба Якунина с чёрной козлиной бородкой, похожего на чёртика.

За ними колыхался вал. Несли трёхцветные флаги. Транспаранты с карикатурами Язова и Крючкова. Отдельным строем шли играющие саксофонисты. То и дело скандировали: “Свобода! Свобода!”

Куравлёв чувствовал игривость толпы, но это была игривость атаки, которая враз превращается в ненависть, в удары, в разбитые головы.

Солдаты достали дубинки и стали колотить в щиты. Унылый металлический стук понёсся по площади, будто принялись за работу жестяники. В этих стуках было что-то древнее, пещерное, как при охоте на мамонтов. Оно проступило из потаённых пластов земли, где таилось миллионы лет.

Перед тем, как произойти столкновению, в рядах демонстрантов произошли перестановки. Ельцин со свитой были втянуты внутрь толпы, и ещё дальше, в её глубину. Исчезли, разъехавшись на машинах. Вперёд выбежали крепкие парни в спортивных костюмах. Скачками подбегали к солдатам, с разбегу прыгали на щиты, ломали ряды. Солдаты махали палицами, топтали упавшие щиты. Их сменяли другие. Завязалась рукопашная. Падали с расквашенными лицами, валились навзничь, а по ним бежала толпа.

Из окрестных переулков выбежали солдаты, ударили с фланга толпу. Раскололи, стали теснить. Толпа не уступала, распалась на клубки дерущихся. Слышался вой, хрип, матерная ругань. Играли саксофоны. Колотили палки в щиты. Все напоминало жуткую рок-группу, на которую понуро смотрел Пушкин.

Вдруг Куравлёв увидел в толпе сыновей. Старший Степан держался за разбитую голову, прикрывался от ударов, а младший Олег вцепился в руку солдата, мешал тому бить брата.

— Назад! Ко мне! — крикнул истошно Куравлёв. Врезался в толпу, получил удар дубиной, кого-то пнул. Добрался до сыновей и за шиворот вытащил Степана из бойни. Тот закрывал рану на голове, обливался кровью, продолжал бормотать:

— Ну, я тебя, гад, достану! На фонаре закачаешься!

Младший Олег семенил следом:

— А я ему врезать успел! Он аж согнулся!

Куравлёв переулками добрался до машины, которую оставил во дворе. Затолкал в неё сыновей. Погнал прочь от проклятого места, где грохотали ударники и выли саксофоны.

## Глава двадцать шестая

Куравлёв тосковал по Светлане. Садился за столик в Дубовом зале, заказывал бутылку “Мукузани” и пил, вспоминая, как начинали темнеть от вина её влажные губы. Выходил из ЦДЛ и шёл на угол Садовой, где промчался кортеж и унёс Светлану. Ему казалось, сейчас завоюют сирены, замерцают вспышки, примчится кортеж, и Светлана со своей золотой причёской, с милой любимой улыбкой предстанет перед ним.

Однажды он увидел женщину с золотыми волосами, на высоких каблуках, в красном жакете, и ему померещилось, что это Светлана. Он шёл за женщиной, не обгоняя её, пока не поймал запах её духов. В них не было горечи миндаля. Они были приторно-сладкие, как зрелая клубника. Женщина оглянулась, улыбнулась ему, а он, обманутый, поскорее ушёл. Боль, которую он испытывал, стала глуше, но иногда хотелось кинуться к её дому и ждать хоть целую вечность, когда она появится из подъезда.

Вечером в ЦДЛ он ужинал в одиночестве. Друзья покинули его. Их союз распался. Случайные забежавшие в зал посетители робели сесть за его стол без приглашения, боясь получить отповедь.

В глубине зала были сдвинуты столы. Горел камин. Чудесно пахло дымком. Стол украшал огромный букет роз, должно быть, праздновали чьё-то рождение. За столом было несколько знакомых лиц.



Евтушенко в жёлтом пиджаке и белых брюках витийствовал, читал мадригал, кидался целовать руку молодой женщине в японском кимоно с костяным гребнем в волосах. Так одевалась Ирина Хакамада, игравшая в политике роль гейши. У многих наивных обожателей эти нежные эластичные руки оставляли рубцы.

Среди гостей находился Франк Дейч. Его выпуклые голубые глаза то и дело поглядывали на Куравлёва, а маленький, трубочкой, рот шевелился, что-то говорил о Куравлёве соседу.

Франк Дейч встал, пересёк зал и сел за стол Куравлёва.

— Ты извинишь? Не помешал? Не ждёшь женщину? Я видел тебя несколько раз с очень красивой женщиной. — Франк Дейч был с Куравлёвым на “ты”. В прежние времена они встречались в “Литературной газете”. Их пути разошлись. Из Куравлёва не получился газетчик, а Франк Дейч перешёл на радио “Свобода”, известное крайне антисоветскими выступлениями.

— Садись, я один. — Куравлёву был интересен Франк Дейч. Тот был с другого берега, по ту сторону линии фронта, и мог донести до Куравлёва вести с “того света”.

— А мы празднуем рождение Ирины Муцуловны Хакамады. Прелестная женщина, не правда ли? В ней соединяется экзотический японский шарм и русская непосредственность.

— Когда её спросили, что делать шахтёрам, которые не получают зарплату, и им нечем кормить детей, она с японским шармом и русской непосредственностью посоветовала шахтёрам идти в лес и собирать грибы.

— Ну, это была шутка! Просто шутка!

Куравлёв предложил Франку Дейчу выпить вина, они чокнулись.

— Представляю, какой шум наделала бы такая фотография в “Московских новостях”. За неё хорошо бы заплатили.

— Можно позвать фотографа. Он обретается где-то здесь, в ЦДЛ.

— А ведь, в сущности, Виктор, у нас много общего. — Франк Дейч был готов положить свою руку на руку Куравлёва, но передумал. — Мы оба интеллигенты, не какие-нибудь посконные деревенщики. Оба преклоняемся перед великой русской культурой. Ненавидим деспотизм, кровь. Твои родственники были репрессированы Сталиным. Что у тебя с ними общего, с этими динозаврами?

— С кем?

— Ну да со всеми этими Марковыми, Язовыми, Крючковыми. Ты им чужой. Они кожей чувствуют, что ты чужой. Они выкинут тебя, как только ты сослужишь им службу.

— Я не служу никакой службе. Я просто романист и по мере сил служу моему государству. Не хочу, чтобы оно погибло.

— Да оно погибло! Его уже нет! Осталась пустая шкурка, нарядная, как у змеи, а змея уже уползла, никого не сможет ужалить!

— Быть может, и так, но я присягал моему государству.

— Брось! Ты не в партии! Не секретарь Союза! Всё ещё можно вернуть. Твою репутацию можно восстановить. Я говорил о тебе с Александром Николаевичем Яковлевым. Он высокого о тебе мнения. Говорит, что хочет дать тебе газету. Ты бы прекрасно справился.

— Ты же знаешь, Франк, я не газетчик.

— Те, с кем ты имеешь дело, обречены. Их уже нет. От них все побежали к нам. Лучшие люди, академики, ядерные физики, генералы, художники. У нас сила, у них — “прощание с Матёрой”. Мы ценим тебя, в новой России тебе предоставят видное место. Иди к нам.

— А если я не пойду?

— Ты страшно проиграешь. С коммунистами будет покончено. Будет громадный процесс с приглашением всех ведущих цивилизованных стран. Коммунизм приравняют к фашизму. Будут аресты, приговоры, тюрьма. Ты хочешь сидеть на скамье подсудимых, как пособник преступной войне?

— Как же вы возьмёте власть с Хакамадой? Ещё одна революция, гражданская война? Разве мало крови?

— Зачем? Не будет крови. Горбачёв добровольно, на блюдечке отдаст власть Ельцину, и Советского Союза больше нет. Добровольно, по-братски!

— Франк, спасибо за добрые пожелания, но я остаюсь на этом берегу. Здесь растут такие славные белые грибы, такие подосиновики, такие милые сыроежки! А Ирина Мацуловна пусть ест японских кальмаров и крабов.

— Я тебе всё сказал, Виктор. И ещё. Жди в ближайшие дни приглашение к Александру Николаевичу Яковлеву. Непусти свой шанс.

Дейч встал и, не прощаясь, отошёл. Занял прежнее место. Его маленький, трубочкой, рот бурно шевелился. Куравлёв остался, допивая вино. Лазутчик Дейч, сам того не ведая, выдал деталь предстоящего заговора. Бескровно, без гражданской войны, без тачанок на улице Горького Горбачёв передаст власть Ельцину. Все республики, подвластные Горбачёву, окажутся бесконтрольными, ненужными Ельцину и отколются от Союза. Союз рассыплетя, останется обрубок России со звероподобным Ельциным.

Такова была суть разговора Куравлёва с Франком Дейчем. Таков был драгоценный улов, что удалось выудить из мутных глубин демократа. Оставалось продолжить исследования.

### Глава двадцать седьмая

Ему позвонили из секретариата и сообщили, что он представлен к правительственной награде, ордену Трудового Красного Знамени. Просили явиться в Кремль к назначенному часу.

Кремль был чудесен в это майское утро. Сияли в синеве золотые кресты. Круглились поднебесные колокольни. Брусчатка была голубой. На клумбе в сквере пламенели тюльпаны. Кремль, как небесный остров, плыл над Москвой, над её розовыми далями. И всё в Куравлёве ликовало, счастливо отзывалось на звоны древних и таких родных соборов.

По широкой лестнице его провели в зал. Не тот, с нишей, в которой стоял беломраморный Ленин и проходили торжественные съезды. А в Георгиевский зал с золотыми надписями по белому мрамору, с хрустальными люстрами, ослепительными, как солнца.

В зале были расставлены кресла, возведён невысокий подиум. В креслах уже сидели те, кто был удостоен наград. Здесь был знаменитый врач, исцеливший безнадежно больных детей. Лётчик-испытатель, поднимавший в небо новый истребитель. Куравлёв не запомнил его фамилию, но знал в лицо. Сидели инженеры, конструкторы, архитекторы. Он разделял вместе с ними их успех. Его книга ценилась страной так же, как новый мост через Обь или искусственные кристаллы для лазеров. Куравлёв смотрел на золотые надписи с перечнем героических полков, батарей, экипажей, которые когда-то сражались на севастопольских бастионах, дали бой превосходящим силам японцев, атаковали неприятеля под Плевной и Шилкой. Куравлёв был среди них, принят в их бессмертное воинство, отстоявшее Отечество.

Начались награждения. Награды вручал не секретарь ЦК Зумянин, оставивший пост по болезни, а другой секретарь — Бакланов, — ответственный за военно-промышленный комплекс и космические пуски. Он стеснялся, плохо говорил, неправильно произносил имена. Когда Куравлёву вручили орден, тяжёлый, литой, с алым знаменем и красной звездой, он заметил, как у Бакланова дрожат руки, и глаза на бесцветном лице смотрят беспомощно.

Всем разливали шампанское. Бакланов обходил награждённых и чокался. Куравлёв вдруг подумал, что этот могущественный человек обязательно, неизвестными Куравлёву пружинами связан с заговором. Сейчас он чокнется, произнесёт несколько незначительных слов и скроется в правительственных кабинетах. Станет недоступен, окружённый охраной, позабыв о Куравлёве, занятый самолётами, ракетами, кораблями. Сейчас тот момент, когда Бакланов ещё доступен, возможен между ними разговор. И не зная, о чём разговор, услышав слова поздравления, Куравлёв произнёс:

— Олег Дмитриевич, почему перестройка разрушает страну? Мы становимся не сильнее, дружнее, свободнее, а рассыпаемся, ненавидим, утрачиваем связь с государством.

Куравлёв подумал, что Бакланов вскипит, оборвёт его начальственным окликом, поднимется и уйдёт. Но Бакланов остался сидеть. Его глаза были растеряны и печальны, речь невнятна и сбивчива:

— Михаил Сергеевич контролирует перестройку. Мы уже проходим самые трудные времена. Скоро станет легче. Возникают контуры нового Союза.

— Олег Дмитриевич, возникают контуры заговора. Существует проект, в котором все расставлены по шахматным клеткам, а в чём игра, не ясно. В один прекрасный день мы очнёмся без доски, без шахмат, без государства. Бондарев сказал: “Горбачёв зажжёт фонарь над пропастью”.

Бакланов долгим печальным взглядом смотрел на Куравлёва. Его молодое лицо от частого соседства с алюминием, сталью, композитными материалами было серым, металлически тусклым.

— Об этом можно поговорить, — тихо сказал он. — Заходите ко мне. Мой помощник вас пригласит.

— Зачем откладывать? Времени не осталось. Мы должны обнаружить заговор и спасти государство.

— Что вы предлагаете?

— Забудьте субординацию, Олег Дмитриевич. Забудьте неотложные дела. Прямо сейчас из Кремля едем в ЦДЛ, обедаем и поговорим. Нам никто не будет мешать.

Куравлёв изумился своей дерзости. Сделанное предложение ещё недавно не могло прозвучать. Но в мире что-то сместилось. Исчезли запреты, словесные препоны, величавость одних и робость других.

— Согласен, — сказал Бакланов. — Предупрежу охрану.

Они сели в просторный “ЗИМ”, украшенный изнутри дорогим деревом, с удобным столиком для бумаг. Машина с мягким шуршанием выскользнула из Кремля и остановилась на улице Воровского, откуда вёл вход прямо в Дубовый зал. Охранники вошли первыми, и скоро взволнованная метрдотель Александра Фёдоровна посадила их за самый респектабельный столик под цветным фонарём. Бакланов сел спиной к залу, чтобы не привлекать внимания. Охранники поместились за соседним столиком и взяли минеральную воду.

— Никогда здесь не был. — Бакланов оглядывал дубовые панели, готические перекрытия, витражное окно. — Что здесь раньше было?

— Говорят, здесь находилась мasonicкая ложка. Кажется, “Звезда Востока”, — неопределённо ответил Куравлёв.

— А сейчас существуют масоны?

— Говорят, что масоны затеяли перестройку. Хотят захватить власть в государстве.

— Никогда не видел масонов, — простодушно признался Бакланов. — Может, Александр Николаевич Яковлев?

— Многие его так и называют.

— А я масон?

— Вы, Олег Дмитриевич, занимаетесь космическим царством, а масоны занимаются подземным царством.

— Ну, слава Богу, хоть я не масон, — усмехнулся Бакланов. — Что вы хотели мне сообщить?

— У вас, Олег Дмитриевич, есть прекрасная аналитическая служба. На вас работает КГБ, другие службы. У меня есть только писательская интуиция, которая может сказать больше, чем КГБ. — И это заявление было дерзким и самонадеянным.

— Что же подсказывает вам ваша интуиция?

— Существуют весы, понимаете? Весы с двумя чашами. На одной чаше — государственники, такие, как вы, Крючков, Язов. Множество людей, для которых дорог Советский Союз. На другой чаше весов — демократическое меньшинство с Ельциным, Яковлевым. Коромысло весов — это Горбачёв, вокруг которого качаются чаши. Государственники слабеют, совершают ошибки. Недавно я видел, как испарился митинг военных, словно их сдуло ветром вместе с дивизиями и армиями. Видел, как в программе “Взгляд” весельчаки измывались над Лигачёвым. Он, как филин, только ухал, отбиваясь от назойливых птах. Перестройщики берут вверх. У них всё больше газет

и радиостанций. Вместе с ними талантливые актёры, умные режиссёры, маститые профессора. Они насмешничают, ставят комические пьесы, сочиняют анекдоты про Чапаева и Ленина. Горбачёв им потакает, боится их, льстит. И может случиться беда.

— Какая? — Бакланов казался скучным. Всё, что Куравлёв считал открытием, Бакланову было давно известно.

— Горбачёв может устать. — Куравлёв торопился высказать самое важное. Удержать Бакланова, чтобы тот не ушёл. — Горбачёв может заболеть, добровольно отказаться от власти. И тогда повторится история с Николаем Вторым. Он отрёкся от власти. Государство пало, рассыпалось, и большевики громадной кровью снова его собрали. Россию придётся собирать заново, с кровью. Существует заговор, понимаете? Заговор передачи власти от Горбачёва Ельцину. Неизвестны имена заговорщиков. Срок исполнения заговора. Но скоро, скоро!

— У меня к вам просьба, Виктор Ильич. Не могли бы вы всё это изложить на бумаге? А также составить обращение к народу, предупреждая его об опасности. Ну, всё то, что вы мне сейчас сказали. Мы, партийцы, технократы, излагаем всё коряво, скучно. Здесь нужен пылкий писательский слог. Попробуйте, Виктор Ильич.

— Попробую, — растерянно ответил Куравлев, пугаясь, что всё это — повод любезно прекратить разговор.

Бакланов достал визитку, протянул Куравлёву.

— Здесь мой прямой телефон и телефоны помощников. Звоните, когда будете готовы.

Бакланов встал, высокий, сутулый, нагнулся, словно боялся задеть цветной фонарь, и вышел. Охранники тенью скользнули за ним.

Куравлёв остался допивать вино. Увидел, как через зал проходит Антон Макавин. Ступает мягко, пластично, медлительно, словно позволяет любоваться собой. На нём был великолепный костюм, лицо светилось, но не внешним самодовольством, а внутренним достоинством успешного человека. Увидел Куравлёва, свернул к нему:

— Это правда, Витя, что теперь в придачу к ордену дарят “ЗИМ”?

— И танк Т-34, — отшутился Куравлёв.

— Поздравляю с орденом Красного Знамени. Теперь ты среди нас знаменосец.

— А где ты пропадал? Давно не было видно. Должно быть, Андрей Моисеевич соскучился.

— Меня приглашали в Польшу. Наградили премией Мицкевича. Хоть и не Красное Знамя, но тоже с польским стягом.

— Как там, в Польше?

— Ждут, когда развалится Союз. Тогда они сведут счёты с империей.

— Там ещё остались советские танки?

— Последний ушёл, и какой-то мальчишка мелом нарисовал на корме свастику.

— Танки имеют обыкновение возвращаться. Польшу давно не делили на части.

— Теперь я понимаю, почему они так любят русских, — засмеялся Макавин. — Был рад тебя видеть, Витя. Кстати, дарю тебе справочник, выпущенный в Польше Михником. Он специалист по советской литературе. Разродился справочником для всех библиотек и университетов.

Макавин протянул Куравлёву пухлую книжку в мягкой обложке. Встал и прошёл через зал всё той же мягкой плавной походкой успешного человека. Куравлёв рассеянно перелистывал справочник. Под фамилией “Макавин” помещалась хвалебная аннотация. В ней Макавин назывался выдающимся советским писателем, любимым учеником Трифонова, лауреатом многих литературных премий. Под фамилией “Куравлёв” говорилось, что это рупор кремлёвской пропаганды, воспевающий преступную войну в Афганистане, шовинист, которому в литературных кругах Москвы не подают руки.

Куравлёв держал справочник, смотрел на дверь, в которой скрылся Макавин. Это был подарок настоящего друга.

## Глава двадцать восьмая

И вот оно случилось, невероятное чудо. Куравлёв получил квартиру, и не просто жильё, дающее простор его стеснённому семейству. Он получил от Союза писателей квартиру на улице Горького, в том самом угловом доме, облицованном бурым гранитом, что вызывал в нём тайное влечение, необъяснимое очарование, будто Куравлёв предчувствовал, что когда-нибудь в нём станет жить.

Это была квартира, принадлежавшая Союзу писателей. В ней жили советские знаменитости. Сразу после возведения дома в нём поселились Алексей Сурков и Михаил Исаковский, секретари Союза. “Бьётся в тесной печурке огонь...”, “Враги сожгли родную хату...”... После Исаковского здесь жил Ираклий Андроников, великолепный повествователь, умевший заморозить публику рассказами о Кавказе, о Лермонтове. Андроников переехал в новый роскошный дом, построенный Союзом, а на освободившееся место поселили Куравлёва.

Он не сомневался, что это награда за книгу об афганской войне, как и орден Красного Знамени.

Всей семьёй они приехали осматривать своё новое жильё, пусть квартира была не прибрана, полна следов недавних хозяев. Куравлёв, жена Вера и сыновья стали облюбовывать комнаты. Самую маленькую и отдалённую от входа Куравлёв выбрал для кабинета. Из окон была видна рубиновая кремлёвская звезда и несколько золотых куполов соборов. Если открыть окно и вытянуть голову, открывался памятник Пушкину.

Но главным волшебным видом был огненный крест, который возникал на пересечении улицы Горького и Тверского бульвара. Сверкающая фарами лавина прорывала перекрёсток, неслась огненной рекой вдоль бульвара, внезапно останавливалась. На смену ей устремлялась другая лавина, такая же яростная и пылающая.

У сыновей появились свои комнаты, и кончилась их вечная борьба за пространство. Жена облюбовала просторную гостиную. Кухня была столь просторна, что заменяла столовую.

Переселение в новый дом превратилось в священнодействие. Каждый вносил в жилище свои заветные амулеты, тайные талисманы, обставляя ими жильё, будто они оберегали от духов прежних хозяев.

Дом был чудесный, с консьержкой, с двумя входами в квартиру, с бронзовыми ключами, которые ввинчивались в замочную скважину. Напротив на лестничной клетке жил Алексей Сурков. Лишь однажды Куравлёв увидел его. В пижаме, с одутловатым лицом, русыми седеющими волосами, Сурков вышел из квартиры, как привидение. Посмотрел на Куравлёва и, не сказав ни слова, скрылся. Навсегда, ибо скоро последовало известие о его смерти.

Этажом ниже жила артистическая семья. Очаровательная Людмила Савельева, так изумительно сыгравшая Наташу Ростову, и её муж Александр Збруев, весёлый, бойкий, похожий на мальчика с морщинами старости.

Ещё ниже жил директор цыганского театра “Ромен” со своей красивой, но рано увядшей женой. Они были приветливы, всегда кланялись, и иногда в их квартиру устремлялся табор ярко и богато одетых цыган. И тогда раздавались цыганские романсы под гитару.

Ещё ниже жил Алексей Маресьев, прототип героя книги “Повесть о настоящем человеке”. Медленно двигался на протезах, мрачный, испытывая тайную боль. То ли от протезов, то ли от того, что время его славы ушло.

Наконец, в отдельной квартире жила одинокая вдова Сергея Королёва, милая, стройная, старавшаяся побыстрее проскользнуть в свою дверь, ни с кем не встречаясь.

На заселение потребовался месяц, когда закупались столы, кровати, буфет, книжные полки, люстры. И скоро жена пригласила своих подруг с мучьями, и устроили освящение квартиры, сначала светское, с громогласными тостами, а потом и церковное. Вера пригласила священника, и тот совершил обряд освящения, оставив на притолоке каждой комнаты крохотный, начертанный копотью крестик.

Но главной отрадой для Куравлёва был Тверской бульвар. Куравлёв выходил на него рано утром, когда бульвар был почти пуст. Шёл, любуясь особенностями, воображая гулявших здесь Пушкина, Гоголя, Грибоедова. Теперь здесь гулял и он, в их обществе, кланяясь и приподнимая цилиндр. Дуб, который помнил Пушкина, был тем самым дубом, вокруг которого кружил “кот учёный”. Куравлёв касался корявой коры ладонью, и они сливались с дубом, через них текло одно бесконечное русское время.

Вечерами бульвар был полон молодёжи, гуляли влюблённые, медленно вышагивали старики. А ночью, когда бульвар затихал, на деревья усаживались тысячи московских галок, поскрипывали во сне и с первым солнцем снимались и летели на окраины, где искали добычу.

На фасаде дома висели памятные доски с именами знаменитых артистов, певцов, поэтов. Марков пошутил, что когда-нибудь среди этих досок появится ещё одна, с именем Куравлёва.

Куравлёв понимал, что квартира — не просто дар. Его продолжают втягивать в длинный, всё сужающийся коридор. Туда его ведут умные, искушённые люди. Они требовали взамен не благодарности, а служения государству. Его вольнолюбивый нрав, его прихоти все больше ограничивались этим служением. Теперь он был не один. Был с теми, кто олицетворял государство.

Ночами он просыпался в своём кабинете, подходил к окну и смотрел на рубиновую звезду, которая заглядывала в его кабинет, надзирала за ним.

Тоска по Светлане то стихала — её затмевали безумные поиски заговора, — то возвращалась невыносимой болью, когда он шёл по Тверскому бульвару и вспоминал, как они целовались у каждого дерева, и за оградой белела церковь, где она стояла у подсвечника, охваченная пламенем, и это сгорала его любовь.

Он не мог удержаться и захотел хоть на мгновение увидеть её, любимую. Поцеловать издалека воздух, в котором она живёт.

Он сел в машину и поехал на Академическую, к дому, где она жила. Встал среди других машин и смотрел на подъезд, понимая, что ждёт напрасно, её появление невозможно.

Подъезд растворился, из него вышел мужчина, высокий, стройный, в летнем костюме, под которым угадывались сильные мускулы. Это был Пожарский. Он подошёл к серой новенькой “Волге” и поправил зеркальце. Дверь снова растворилась, и вышла Светлана. Она была в лёгкой блузке, которая открывала её белую гордую шею. Она подошла к Пожарскому, прижалась к нему. Он обнял её, отворил дверцу машины. Светлана села, и Куравлёв увидел её ногу в туфельке с острым каблучком. Пожарский сел за руль, и “Волга” умчалась в арку дома, унося Светлану, чтобы Куравлёв её больше никогда не увидел.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### Глава двадцать девятая

Куравлёв не мог объяснить, когда кончилась его привычная, предсказуемая жизнь, и он ступил в поток. Его понесло, закрутило, ударило о берега. В этом круженье открывались всё новые повороты, всё новые обстоятельства, которые он уже не стремился осмыслить, отдаваясь потоку.

Неожиданным оказалось приглашение на дачу Георгия Макеевича Маркова. Она находилась в Переделкине, в писательском заповеднике среди солнечных сосен. Бор был столь свеж и не тронут, что у подножья сосен росла брусника и стеклянню переливались муравейники. Дача Маркова была просторной, деревянной, в два этажа, с летней верандой. На веранде был накрыт стол. Марков встретил Куравлёва в домашней блузе, мягкий, чуть зашпанный, не похожий на строгого, величаво ступавшего секретаря.

— Не обедали? — спросил он Куравлёва. — Составьте компанию. Сегодня у нас щавелевый суп. Анастасия, неси супницу!

Прислужница в белом фартуке и кокетливом кокошнике принесла большую фарфоровую супницу. Марков сам черпал из неё половником, разливая по тарелкам, ухаживая за Куравлёвым.

— Какой щавелевый суп без яичка? — Марков постучал по столу крутым яйцом, аккуратно, чистыми ногтями очистил скорлупу. Разрезал яйцо на две части, обнажив желток, и ножичком скинул половину яйца в тарелку Куравлёва.

— Прошу извинить. Без вина. Лекарства. Все время кружится голова, забываю слова. Поверите, не мог вспомнить, как называется дуршлаг. В руках верчу, а вспомнить не могу.

Марков подошёл к шкафчику, достал флакончик, накапал в рюмочку и выпил, поморщившись.

— Жизнь отмеряю по каплям, — пошутил он, возвращаясь к столу.

Они ели прохладный щавелевый суп. Марков осторожным взмахом руки отгонял назойливую осу.

— Ну, как вам в новой квартире? Я помню, когда там жил Исаковский. Удивительное было время. Его стихотворение “Враги сожгли родную хату...” не хотели печатать. А песню и вовсе запретили к исполнению. Слишком грустная. Такая была цензура. Сейчас нет цензуры, печатай, что пожелаешь!

— Много дурного желают, Георгий Макеевич. Вчера читал, что маршал Жуков был в стоворе с английской разведкой и готовил покушение на Сталина. А ещё читал, что у Брежнева было два желудка. Один работал днём, а другой — ночью. А ещё писали, что Горбачёв — незаконный сын Андропова, а Раиса Максимовна ставит ночью под кровать золотую вазу. Есть вещи и пострашнее. Почему мы молчим, не отвечаем?

— Знаете, Виктор Ильич, я служил на Дальнем Востоке на границе с Манчжурией. Японцы нас обстреливали, устраивали психические атаки. А приказ был: “Огонь не открывать!” Вот мы и терпели, отмалчивались. Зато потом так жахнули, что самураи сверху пятками летели!

— Вы хотите сказать, Георгий Макеевич, что мы просто выявляем врагов? А потом по ним жахнем?

— Надо быть осторожнее, Виктор Ильич, терпеливее.

Куравлёв видел, что Марков был в стороне от заговора. Сквозь него не проходила электрическая жила, которая жгла, уходила в самую толщу заговора и там копила страшное замыкание. Марков был стар, мягок. Он доживал своё время. Его не учитывали заговорщики. Он находился в стороне от места, где должен случиться взрыв.

— Я хотел поговорить с вами, Виктор Ильич, о скором съезде. Мы включили вас в состав секретарей, отвергнув кандидатуры таких писателей, как Евгений Евтушенко или Генрих Боровик. Они писатели хорошие, но не соблюдают равновесие внутри Союза. Начнут и здесь перестройку. Мы должны сохранять равновесие. Беречь традицию, все, что нам завещали Горький, Фадеев, Федин. Народ верит писателям. Писатели для народа почти святые. Слово писателя должно быть выверенным, точным, созидать, а не разрушать. Вы согласны?

— Конечно, Георгий Макеевич.

Марков был из тех осторожных людей, которыми руководил “здравый смысл”. Именно это позволяло ему управлять Союзом, в котором бушевали распри, нетерпимость, желание толкнуть ногой стол с аккуратно расставленной посудой, чтобы насладиться звоном расколотых тарелок и чашек. Но именно “здравый смысл” исключал его участие в заговоре. Он был слишком пресен и старомоден.

— На съезде вы будете сидеть не в зале с остальными делегатами, а в этом, как его? — Марков потёр себе лоб. — Ну, там, где сидит политбюро.

— В президиуме, Георгий Макеевич?

— Да, да, президиум! Съезд будет представительным. На него приглашены Михаил Сергеевич Горбачёв и Александр Николаевич Яковлев. Вам будет предоставлена возможность выступить. Кратко, на три минуты. Ну, что-нибудь о новом поколении советских писателей, которые продолжают великие традиции предшественников. Хорошо?

— Конечно, Георгий Макеевич. — Куравлёв принимал условия устоявшейся игры, над которой всегда потешался, но в которую теперь приходилось играть.

— И ещё, Виктор Ильич. Так получается по указанию Александра Николаевича Яковлева, что главными редакторами газет становятся демократы. Много критики, нигилизма. Союз писателей решил организовать новую газету с позитивной программой. И поручить её выпуск вам.

— Но я не газетчик. Это особый дар.

— Научитесь. Симонов был не газетчик. Чаковский был не газетчик. А какую “Литературку” сделали!

— Но вот есть же у Союза “Литературка”!

— Туда пришли “перестройщики”. Чаковского убрали. Сыроедов доживает последнее. И скоро газете конец. Уже не печатают советских писателей. Не печатают “деревенщиков”. Мы это должны исправить.

— Как же будет называться новая газета?

— Вам решать, Виктор Ильич.

— Пусть называется “День”.

— Почему?

— Потому что День против Ночи. День — это свет. День — это время. Газета будет ежедневной.

— День, день, — Марков несколько раз повторил слово “день”, прислушиваясь, как оно будет звучать, словно прикладывая к уху морскую раковину, вслушиваясь в потаённые гулы. — Ну что ж, “День” так “День”. Об условиях поговорим позднее.

Было видно, что Марков устал. Глаза остекленели. На лице появился отёк.

— Что-то нездоровится. Пойду прилягу. Извините, Виктор Ильич. — Марков тяжело поднялся. Прислужница в кокетливом венчике взяла его под руку, и они медленно скрылись во внутренних покоях.

Куравлёв покидал Переделкино, чувствуя, что поток продолжает его нести, ударяет о берега, открывает за поворотами неожиданные горизонты.

Заговор разрастался. Он был близко, заговорщики окружали Куравлёва, здоровались, говорили любезности, тонко прощупывали. А он был беспомощен. Чувствовал, что где-то рядом пролетает обнажённая жила, но её невозможно тронуть руками.

### Глава тридцатая

Франк Дейч не обманул. Куравлёв получил приглашение в ЦК на приём к секретарю ЦК Яковлеву. То был могущественный человек, слышавший настоящим автором перестройки. С его слов Горбачёв вещал об “общечеловеческих ценностях”. Вторя Яковлеву, Раиса Максимовна лепетала о “Европе — общем доме”. По его велению смещались редактора газет и телевидения. И множество видимых и невидимых интриг, менявших лицо страны, замышлялись в его кабинете.

Здание ЦК располагалось на Старой площади в сером, стального цвета строении, в котором когда-то был доходный дом. В апартаментах, где пировали купцы, ютились заезжие провинциалы, услаждали приезжих барышни лёгкого поведения, теперь в этих комнатах сидели деловитые партийцы. Управляли экономикой, культурой, военным делом. И среди этих похожих на соты кабинетов находился величественный, с просторной приёмной кабинет Александра Николаевича.

Яковлев принял Куравлёва сердечно, пожал руку и приобнял. Слегка прихрамывая, провёл к столу и усадил в кресло. Он был без пиджака, в жилетке, из-под которой вываливался живот. У него было большое губастое лицо, нос картошкой. Он говорил “окая” и производил впечатление простого волжского мужика, трудяги. И только из-под косматых бровей смотрели зоркие стальные глаза.

— Чаю? — Он нажал кнопку и приказал секретарше принести чай, который тут же появился в мельхиоровом подстаканнике.



— Я постоянно слежу за вашими публикациями, Виктор Ильич. А вот, наконец, встретились. Лучше поздно, чем никогда, — засмеялся Яковлев, и живот под жилеткой мягко заколыхался. — Кстати, хотел вас спросить, Виктор Ильич. — Яковлев положил растопыренные пятерни на стол, накрыл ими множество бумаг, лежащих кипой. — Почему меня “почвенники” считают масоном? — Его толстые губы улыбнулись обиженной детской улыбкой, а глазки смотрели на Куравлёва остро и насмешливо, ожидая ответа. — Пишут: “Яковлев масон”. Что с этим делать?

В этом наивном вопросе было тонкое лукавство. Матёрый партиец, окончивший Колумбийский университет в Америке, работавший послом в Канаде, не нуждался в советах Куравлёва. Яковлев его прощупывал, брал с него пробу. Но и сам Куравлёв прощупывал этого грузного, играющего простофилю человека, которому подчинялась страна. Яковлев хотел понять, пригодится ли ему Куравлёв. Можно ли его поместить в одну из своих интриг, надеясь на преданность. Куравлёв же понимал, что приблизился к самой сердцевине заговора, и не хотел спугнуть Яковлева неосторожным словом.

— Мне кажется, — Куравлёв открыто и честно посмотрел в хитрые глаза Яковлева. — Мне кажется, Александр Николаевич, вам следует появиться на открытии какого-нибудь православного храма. И наши православные убедятся, что вы не масон.

— Хорошая идея! Просто отличная! Через несколько дней открывается Оптина пустынь. Я, пожалуй, поеду открывать храмы.

Яковлев был доволен советом. Доволен быстрой и оригинальной реакцией. Доволен, что не ошибся в Куравлёве. А Куравлёв был рад, что не выдал себя, расположил к себе Яковлева. Мог продолжать своё тайное исследование, в котором всё было важно. Белые телефоны, соединённые с тайными кабинетами заговорщиков. Мельхиоровый подстаканник, к которому недавно прикасалась рука злоумышленника. Жилетка Яковлева, делающая его домашним добряком.

— Ну, а что вы думаете о происходящем в стране? — Стальные глаза пытливо смотрели на Куравлёва. Это был экзамен, проверка на искренность. Нужно было показать свою преданность перестройке, не скрывая тревоги по поводу её издержек.

— Сложная обстановка, Александр Николаевич. Ломается многое из того, что могло бы сохраниться. Есть ценности, которые отличаются от мифов и служат опорой любого государства.

Ответ безошибочный. В нём не было лести. Не было отторжения “перестройки”. В нём было одобрение “перестройки” с пожеланием проводить её бережней и осторожней. Ответ понравился Яковлеву, задел его. Куравлёв показался ему человеком, которого нужно приблизить, сделать союзником, найти ему достойное место.

— Вы правы, многое неточно, скороспело, грубо. Но вы представляете, какая нам предстоит работа? Космическая, с исправлением нарушенных законов Вселенной. Здесь не политика, здесь космическое мышление! Ведь Советский Союз был вырван насильно из земной цивилизации. Так Луна страшным взрывом вырывается из Земли, оставляя в Земле глубокую полость. Советский Союз — это Луна, которую мы должны вернуть на землю, в ту впадину, из которой она была вырвана. А это ювелирная работа. Кромки не совпадают. Инструмент не совершенен. Мастера не обучены. Отсюда скрипы, хрусты, страдания людей. Но мы вернём Луну на Землю и обеспечим ей земные условия существования. — Яковлев не поспешил на сложную метафору. Она предназначалась для творческого воображения и была знаком особого доверия, предполагала духовную близость. Куравлёв оценил метафору. Изобразил восхищение, чем ещё больше расположил к себе Яковлева.

Они, как разведчики, вербовали друг друга, ходили по кругу, опасаясь неверного шага.

— Люди страдают, Александр Николаевич. На них падает небо. Они не знают, что все эти годы жили на Луне. Они эту Луну украшали, строили на ней города, защищали в смертельной войне.

— Это неизбежный процесс. Кто-то не сможет смириться и будет до конца своих дней рыдать и противиться. Кто-то сдастся и покорно примет любые перемены. Но нам нужны творцы. Новые русские люди, которые родятся в России и поведут её путями всего человечества. Но таких людей надо выращивать. Их не вырастит партийный секретарь или полковой генерал. Их может вырастить только писатель. Поэтому я захотел с вами познакомиться. Включить вас в работу. Я знаю, Марков продвигает вас в секретари Союза. Одобрю, содействую этому. Знаю, что вам предложено издавать газету. Это моя идея. Нам нужна новая свежая газета писателей... — Яковлев разволновался, стал сильнее “окаль”. Был обаятелен, говорил с Куравлёвым на равных, посвящая в сокровенные замыслы. И это вызывало у Куравлёва отклик, делало союзником, соратником, почти другом. Тонкий обольститель, Яковлев не чувствовал, что Куравлёв сам его обольщает, ищет в общении с ним путь к заговору, который был страшно близко. Обнажённый провод проходил по этому кабинету, по столу с пятернями Яковлева, по белым правительственным телефонам. Одно неверное движение, неосторожное слово, и можно коснуться электрической жилы, и она сожжёт.

— Я пытаюсь понять происходящее, Александр Николаевич. Фантазирую, строю схему. Хочу выявить суть опасных противоречий, которые могут привести к взрыву, и Луна взорвётся на подходе к Земле.

— Что за схема? — Яковлев подвинул ему лист бумаги и ручку. — Рисуйте!

Куравлёв стал рисовать чертёж, который много раз являлся ему во сне. Овалы, круги, квадраты, соединяющие их линии, стрелы ударов. Рисовал схему двух враждующих центров власти, вражда которых вела к взрыву и распаду страны.

— Оба центра управляются одними и теми же советниками. — Куравлёв нарисовал круг со знаками, от которых расходились стрелки. — Задача передать полномочия одного центра другому, от Горбачёва к Ельцину. Это и будет возвращением Луны на Землю. В этом суть заговора. Я знаю, что заговор есть. Готовится распад страны.

Яковлев притянул к себе листок, испещрённый Куравлёвым

— Кто же те люди, которые управляют обоими центрами?

— Один из них вы, Александр Николаевич.

Яковлев молчал, рассматривал чертёж.

— Вы оставите его у меня?

— Разумеется!

— Интересно то, что за день до вашего прихода в этом кресле сидел директор “Рэндкорпорейшн” Джереми Израэль. Он нарисовал подобный чертёж. Спрашивал меня, как полномочия одного перейдут к другому. Я ответил, что в этом нет необходимости. Борьба происходит в мирных формах. Ибо ей, как вы только что сказали, управляют ответственные люди.

Яковлев по-отцовски приобнял Куравлёва и проводил до дверей. Куравлёв чувствовал, как колышется тёплый живот под жилеткой.

### Глава тридцать первая

Куравлёву казалось, что он переиграл Яковлева. Очаровал, вошёл в доверие, приблизился к центру заговора, в котором тот, быть может, играл первостепенную роль.

К вечеру ему позвонил Бакланов, ещё один неопознанный заговорщик:

— Виктор Ильич, вы обещали подготовить воззвание. Через день состоится пленум партии. Хорошо бы к этому дню опубликовать послание.

— Напишу, Олег Дмитриевич, как обещал.

— Когда? — требовательно спросил Бакланов.

— К вечеру будет готово.

Он вернулся в свой кабинет. Глядя на рубиновую звезду, чувствуя её магический свет, принялся писать. Он обращался к народу в час смертельной опасности. Все, что с такими трудами, такой молитвенной любовью возводилось народом, теперь, благодаря вредоносному Горбачёву, может погибнуть

на радость врагам. Поносятся символы, ради которых умирали отцы, и они рыдают в своих могилах, слыша, как надругались над их Победой. Страну рассекут на части, и дружба народов превратится в ненависть русского и украинца, татарина и белоруса. Заводы, краса и гордость Советов, пойдут с молотка и достанутся ворам и стяжателям. Армия, бравшая мировые столицы, будет растерзана, и от неё останутся только парадные караульные роты. Врач станет брать за лечение баснословные деньги, а учитель примет ученика только за мзду. Народ, усыпленный колыбельными “перестройки”, должен очнуться, ударить по рукам губителям Родины. Пусть откажет в доверии тем, кто толкает страну в объятия врага. Пусть в единый строй защитников Родины встанут космонавт и крестьянин, профессор и солдат, художник и металлург. Выше поднимем священное знамя Победы. Пусть от него в страхе отшатнутся враги Советского Союза.

Куравлёв смотрел, как остывает на печатной машинке лист. Было чувство, что окончательно исчезает его писательская свобода, и теперь он навсегда связан с заговорщиками, причём неизвестно, с какой их частью. Вынул из машинки листок. Позвонил Бакланову. Через несколько минут приехал помощник и увёз обращение. Вечером позвонил сам Бакланов:

— Отлично, Виктор Ильич! Через неделю обращение будет напечатано в “Советской России”. Свои подписи под воззванием, помимо вашей, поставят видные академики, боевые генералы, прославленные артисты. Не возражаете?

— Конечно, нет.

— Жму руку.

Куравлёв сидел, медленно понимая, что теперь, написав послание, он превратился из разведчика, ищущего заговор, в заговорщика.

Через неделю все центральные газеты вышли с обращением “Слово к народу”. Под обращением стояли имена академиков, разрабатывающих крылатые ракеты и подводные лодки. Генерала, выводившего полки из Афганистана. Писателей- “деревенщиков” Распутина и Белова. Всего двенадцать фамилий по числу апостолов.

Уже в дневной передаче Ельцин назвал обращение “плачем Ярославны” и пообещал всем подписантам по двенадцать лет тюрьмы.

— Это прямой призыв к свержению законной власти. Пусть наши компетентные органы расследуют это дело!

Демократические газеты откликнулись статьями, в которых говорилось о “коммунистическом реванше”, о призыве к восстанию.

— Опять вокзалы, телефон, телеграф? Опять разгон Учредительного собрания? Опять ГУЛаг? — вопрошали газеты.

Куравлёв, не ожидавший столь бурного отклика, направился в ЦДЛ, место, где разносились слухи, выставлялись оценки, вскрывались подоплёки.

В Доме литераторов накануне Съезда писателей былолюдно. Съезжались делегаты из разных республик. Заказывали ужин, водку, сдвигали столы, обнимались, произносили здравицы. Красавец Олжас Сулейменов из Казахстана витиевато восхвалял своего собрата из Киргизии Чингиза Айтматова. Через зал процокала каблучкам миловидная Нина Васильевна, свежая, пышная, награждая всех сразу любящими васильковыми взорами.

Куравлёв едва нашёл место за столиком у дверей. И сразу же вынырнул из толпы Франк Дейч:

— Что ты, черт побери, наделал! Кто тебя дёрнул написать эту коммунистическую агитку? Александр Николаевич в бешенстве. Он считает это актом предательства. Он хотел включить тебя в круг ближайших советников. Меня подвёл. Я ручался за тебя. Теперь ставь крест на себе! Не звезду, а крест, понял?

— Понял. Значит, я попал в точку. Бомба упала прямо в цель.

— О чём ты?

— Никогда ни за кого не ручайся.

— Иди ты к чёрту! — крикнул Франк Дейч и убежал.

Куравлёв пил вино, отвечал на приветствия. Из делегатов мало кто читал обращение. Им было не до этого. Надо было лобызаться, дарить книги,

выведывать сплетни о новом составе секретариата. Многие перед Куравлёвым заискивали, ибо слух о предстоящем избрании уже разнёсся по ЦДЛ.

Он сидел, наблюдая, как сходятся писатели, как тесно становится за одним столом и шумно подвигают другой. Как раскрасневшиеся официантки счастливо встречаются давних знакомых.

Внезапно в дверях Дубового зала возникла толчея. Влетела гурьба. Не было видно лиц, а одни только маски. Слепленные из папье-маше, ярко размалёванные, маски крутились по залу, склонялись к столам, тёрлись размалёванными головами о писательские носы. Здесь была маска деревенской дуры с большими губами, в румянах, с косой из обрывка мочалки. Был солдат с тараканьими усами, в бравом кивере. Была гулящая девка с развратным ртом и с причёской из медной проволоки. Была маска смерти, белая, костяная, расписанная голубыми цветочками. Была ослиная башка с ушами. Ярило-солнце из красного шёлка, с металлическими лучами. Маски скакали, сшибались. Гулящая девка лезла целоваться. Деревенская дура совалась губами в тарелки. Солдат отдавал честь и расправлял усы. Ослиная башка приставала к женщинам. Смертушка с улыбкой беззубого рта ласково заглядывала в глаза. Ярило крутился на месте, цепляя жестяными лучами. Вся ватага топталась, танцевала, плевалась, делала непристойные жесты. А потом исчезла, словно ушла в стены. Зал очумело молчал.

Куравлёв не знал, чья это выходка, кто запустил в зал этих языческих раженок. Они вызывали жуть, словно призраки других миров. Отирал платком щеку, на которой гулящая девка оставила след помады.

## Глава тридцать вторая

Съезды писателей проходили в Большом Кремлёвском дворце, в зале, помнившем Сталина, доклады о пятилетках, о полёте в Космос. Съезд длился два дня, выбирались руководящие органы Союза, а потом закатывался банкет в новом хрущёвском Дворце съездов. Накрывались столы, выставлялись деликатесы, редкие закуски, выстраивались бутылки вин и водок. И вся огромная орава писателей, давя друг друга, кидалась к столам, стараясь завладеть наибольшим количеством угощений. Через два плотоядных часа отяжелевшие, захмелевшие писатели покидали Кремль и отправлялись допивать и догуливать в ЦДЛ.

Сам же съезд начинался чинно, торжественно. Делегаты рассаживались в кресла, устремляя глаза на сцену, где в нише, белый, как лунный камень, возвышался Ленин.

Куравлёву было отведено место не в зале, а на сцене, как почти уже избранному секретарю. В центре сидел Горбачёв, придавая съезду государственное значение. Рядом поместился главный идеолог страны Яковлев. Куравлёв, увидев Яковлева по соседству, ехидно улыбнулся и поклонился. Но Яковлев мельком зло на него посмотрел и отвернулся к Горбачёву.

Рядом сидели секретари Союза Бондарев, Карпов, Михалков, Исаев. И над всеми, белый, как из лунного камня, сиял Ленин. Торжественный голос объявил открытие съезда. Стоя, прослушали гимн. Предоставили слово для доклада Маркову.

Тот вышел на трибуну с кипой бумаг и особенным, лишённым цвета и живого звука голосом начал читать. С первых же слов погрузил подгулявших накануне писателей в дремоту. Ровное бесцветное чтение, монотонное течение времени завораживало Куравлёва. Он знал, что в завершение этого мёртвого времени возникнет вспышка. Ещё один фантастический поворот его судьбы, когда он выйдет из Кремля секретарём и будет причислен к узкому кругу лиц, облечённых идеологической властью.

Но по мере того, как продолжалось мертвенное чтение, Куравлёв вдруг со страхом почувствовал, что сейчас совершится разрыв времён. Сквозь этот разрыв с бешеной скоростью хлынет поток, который его опрокинет.

Горбачёв наклонился к Яковлеву и что-то ему внушал.

Марков бесцветно читал:

— Внесут неопенимый вклад в копилку социалистического реализма...

Он вдруг остановился, потеряв нить. Начал снова читать:

— Вклад неоценимый... внесут вклад...

Снова замолчал и медленно, заплетаясь, попытался поймать потерянную фразу:

— Копилку... вклад... неоценимый... социалистический...

Марков покачнулся, схватился за края трибуны, стал оседать. К нему подбежали, взяли под руки, свели с трибуны. Медленно вывели из зала. Ряды роптали: “Инсульт”! Трибуна оставалась пустой. Белели рассыпанные листки бумаги. Зал роптал сильнее. Горбачёв ткнул в бок сидящего рядом Владимира Васильевича Карпова и властно повелел:

— Иди, дочитай!

— Я? — пробовал возражать Карпов.

— Иди, дочитай! — грубо приказал Горбачёв.

Карпов сошёл со сцены, поднялся на трибуну, перевернул листок и стал читать:

— Внесут неоценимый вклад в копилку социалистического реализма...

Вначале он сбивался, робел. Но голос его окреп, и он, не запинаясь, дочитал доклад. Зал рукоплескал. Все знали, кто займёт место разбитого инсульта Маркова.

Затем произошло нечто молниеносное. Яковлев забрал списки кандидатов на посты секретарей. Виртуозно, с ловкостью игрока, меняющего в колоде карты, вычеркнул одних, в том числе и Куравлёва, и вставил других, верных перестройке. Новыми секретарями Союза стали Евгений Евтушенко и Генрих Боровик, корреспондент в Америке, вначале обличитель американского империализма, а в последние годы рьяный друг Америки, сторонник перестройки.

Съезд завершился. На Куравлёва поглядывали одни с сочувствием, другие со злорадством. Он не пошёл на банкет. Выходил из Кремля и вдруг понял, что вчерашнее беснование скоморохов в Дубовом зале было не случайно. Было насмешкой над ним, над всеми его замыслами и проектами. Было нарядным и весёлым глумлением. Судьба прислала вестников его неизбежного проигрыша.

Через день состоялся разгром “Литературной газеты”. Великая газета стала умирать ещё раньше, когда её покинул главный редактор Александр Борисович Чаковский, по болезни или предчувствуя гнетущие времена. Его сигара перестала дымить в коридорах редакции. Газета стала падать, но не громко, тихо, как падает белое облако за вершины деревьев. Ещё оставался у кормила неутомимый Сыроедов, ещё взрывались газетные страницы курьёзными суждениями и сенсациями “перестройки”. Но и Сыроедова прогнали, гнусно, жестоко, не объясняя причин.

На его место пришёл ставленник Яковлева, неистовый демократ, превративший вольнолюбивую газету в злобный листок. Именно тогда в газете заговорили о “русском фашизме”.

Писатели Бондарев, Белов и Распутин назывались “русскими фашистами”, а Куравлёв, стараниями Натальи Петровой, получил прозвище “соловей генерального штаба”.

Куравлёв выпытывал у сотрудников “Литературки”, чем объяснить жёсткое удаление Сыроедова. Никто ничего толком не знал. Говорили о каких-то связях с немецким журналом “Шпигель”. О любовницах, слух о которых дошёл до секретариата ЦК. Была экстравагантная версия. Во время поездки в Бухару, где золото, хлопок и вино, Сыроедов, вознося хвалу секретарю Бухарского обкома, неловко пошутил. Сказал, что на Западе начался сбор спермы выдающихся людей. Её замораживают, а через много лет оплодотворят женщин, от которых родятся великие люди. И сперма секретаря Бухарского обкома партии должна быть заморожена для будущих времён. Это оскорбило бухарского секретаря, последовала жалоба, и Сыроедова убрали.

— Ну, Сыроедов не стал бы замораживать свою сперму. Она ему нужна здесь и сейчас, — рассмеялся собеседник Куравлёва.

Газета, которая посылала Куравлёва на войну, теперь называла его волевым преступником.

## Глава тридцать третья

Однако была газета “День”, неоперившийся птенец, только что разломавший клювом яйцо, готовый выпасть из гнезда. Но это было оружие. Куравлёв мог отвечать на удары. Он вступил в бой со множеством “перестроечных” газет и журналов, которыми управлял искушённый диспетчер Яковлев. Как стальные “Мессершмитты”, враждебные газеты господствовали в воздухе, истребляя бегущие враспынную колонны коммунистов. Газета “День”, как фанерный истребитель, вылетала им навстречу. Её поджигали, сбивали, самолётник с трудом добирался до аэродрома. Его латали, чинили и вновь поднимали в небо, навстречу стальным армадам.

Куравлёв нашёл сотрудников, знающих газетное дело. Неистового критика, яростного русофила Владимира Бондаренко, которому демократы уже подбрасывали под дверь мешок с гнилыми костями. Журналиста Евгения Нефёдова, весельчака и насмешника, покинувшего “Комсомольскую правду” после того, как та стала люто антисоветской. Николая Анисина, ушедшего из коммунистической “Правды” после того, как газета убрала с первой полосы ордена Ленина и Трудового Красного Знамени. Шамиля Султанова, исламского мистика, знатока международных отношений.

Штат был невелик, зарплата крошечные. Но всё искупалось сладостным чувством борьбы, праведного боя. Все стояли плечом к плечу. Рассматривали газету как драгоценное оружие. Куравлёв, получив газету, поместил на её первой полосе ордена, которые перестроечная “Правда” кинула в грязь.

Он не уставал цеплять масляные газеты, когда-то столпы советского строя, а теперь истреблявшие всё советское. Газеты-гиганты огрызались на укусы маленькой неуёмной газеты. “День” получал известность, рос тираж. Газету “Известия”, ставшую лютой русофобской газетой, “День” назвал “пульсирующей маткой сионизма”, что вызвало скандал и увеличило число сторонников.

Он разместил фотографию, где по Москве ведут колонны пленных немцев, и написал: “Так поведут демократов”. Известность газеты росла, росло влияние.

Куравлёв позвонил больному Александру Борисовичу Чаковскому. Представился главным редактором “Дня” и попросил о встрече.

— Торопитесь. Встреча может не состояться.

Чаковский принял его дома, в великолепной квартире с окнами на памятник Юрию Долгорукому. Шторы были задёрнуты. Чаковский был в домашней блузе, в тёмных очках — не выносил яркий свет. Достал из шкафчика бутылку виски, хрустальные стаканы.

— За здоровье вашей газеты.

Они выпили жгучую горечь, от которой Куравлёву стало свободней. Он рассказал о замысле новой газеты.

— Но ведь газета должна кому-то служить? Кому служит ваша газета?

— Мы даём отпор “перестройке”, — ответил Куравлёв.

— Этого мало. У перестройки есть лица. Это Горбачёв, Яковлев. А какие лица с вами?

— Бакланов, Язов, Крючков. Вся советская интеллигенция.

— Боюсь, этого мало. Лица, которые вы назвали, очень скоро померкнут. А новых вы не найдёте.

— Вы полагаете, Александр Борисович, газета не состоится?

— Я так не сказал. Но газета должна найти своего хозяина.

Чаковский помолчал, а потом произнёс:

— Мир сошёл с ума. В нём всё сошло с ума. Сошли с ума мои клетки.

Они поедают друг друга.

Куравлёв чокнулся на прощанье с хозяином и ушёл. Остался сладкий запах сигарного дыма, пустота огромной квартиры и худой, неизлечимо больной человек, умирающий вместе со своей великой газетой.

Куравлёв решил взять интервью для газеты у Бакланова. Секретари ЦК не давали интервью, но Куравлёва и Бакланова после “Слова к народу”

связывали особенные отношения. Бакланов согласился дать интервью и пригласил Куравлёва на Старую площадь.

Вид тихих разветвлённых коридоров с одинаковыми дверями и табличками, где значились фамилии хозяев кабинетов, вызывал у Куравлёва ощущение заповедника. За тихими дверями неслышно живут таинственные особи. Их порода и клички выведены на бирках. Редко открывалась дверь кабинета, бесшумно появлялся человек с папкой, проходил часть коридора и скрывался в другом кабинете.

В приёмной Бакланова сидели в ожидании генерал-лейтенант и капитан первого ранга. Другие, как показалось Куравлёву, могли быть директорами заводов или крупными конструкторами.

— Виктор Ильич, проходите. Олег Дмитриевич вас ждёт, — произнёс помощник, чем вызвал недовольство остальных посетителей. — Вы не возражаете, Виктор Ильич, мы пригласили фотографа? Пусть запечатлеет историческую встречу, — засмеялся помощник.

Кабинет Бакланова был просторный, с длинным столом совещаний. На стене висел портрет Горбачёва, на другой — ракета “Энергия” с присевшей на неё бабочкой “Бурана”. Бакланов отложил бумаги. Встреча обещала быть радушной. Их роднило “Слово к народу”.

— “Слово” прекрасно восприняли на заводах, в гарнизонах, в университетах, — сказал Бакланов. — Документ обсуждали на Пленуме ЦК. Яковлев назвал документ подготовкой к госперевороту. Горбачёв посетовал, что с ним не посоветовались. Поздравляю, Виктор Ильич!

Они сидели за столом, дерево которого было истёрто рукавами множества инженеров, учёных, военных. Они беседовали, но это напоминало не интервью, а непринуждённый обмен суждениями. Фотограф скользил рядом, пощёлкивал камерой, приседал, вставал на цыпочки.

— Мы, технократы, совершили ошибку. Строили космические корабли, реакторы, лазеры. Мы достигли такой мощи, что можем произвести всё, что не противоречит законам физики. Мы полагали, что наше дело — строить машины и космодромы, а политику мы доверили другим. Теперь эти другие хотят разрушить всё, что мы сумели построить. Мы готовы запустить на орбиту такую систему, при которой ни одна американская ракета не взлетит без разрешения нашего генерального штаба.

— То есть моего разрешения? — пошутил Куравлёв. — Ведь меня называют “соловьём генерального штаба”.

— Этим нужно гордиться. Вы “соловей советского генерального штаба”, а не американского.

— Когда же мы остановим всё это безобразие?

— Не торопитесь, очень скоро. Нам будет нужна поддержка прессы. Ваша поддержка, Виктор Ильич. Я поговорю с Язовым, он выделит финансирование, подыщет подходящее помещение для газеты.

Куравлёв угадывал, что близится желанная схватка. У могущественных мужей государства иссякло терпение. Они оставят на время свои космодромы и наведут порядок в стране. Куравлёв будет с ними. Его газета, сменив фанеру на металл, станет наносить удары по объектам врага. Наступает великий перелом. Вся мощь государства идёт на помощь к Куравлёву, а он, выстояв, пережив отступление, переходит в атаку. Как в Сталинграде. И пусть отец в своей безвестной могиле помогает ему.

— Что греха таить, — продолжал Бакланов, — страна задержалась в развитии. Техника на высоте, а управление хозяйством хромает. Мы начнём разрабатывать универсальные системы управления не только заводами, но и отраслями, и всей экономикой.

— Как быть с идеологией? Как изменить язык, на котором говорят наши идеологи? Нужен новый язык, способный вместить новые смыслы!

Куравлёв говорил о новых стихах и романах, в которых отразится новое время, обретёт не только своих героев, но и свой неповторимый язык. И он станет писать романы, подобные “Небесным подворотням”, где люди будущего заговорят волшебным языком.

— Это большая проблема. Не “новое мышление” Раисы Максимовны, а новая идеология. Мы слишком поспешно отказались от религии. В мире есть нечто такое, что не отразить математикой, не объяснить физикой. Почему нас манит Космос? Он манит нас тайной и мечтой. Мы надеемся найти в Космосе ответы на наши земные вопросы. Есть вопросы, на которые на Земле нет ответа. Что такое счастье? Возможна ли вечная жизнь? Возможно ли вечное счастье? Когда-нибудь мы разгадаем эту тайну, и скажем о ней словами великих писателей и поэтов. Вашими словами, Виктор Ильич.

Куравлёв был удивлён. Сухой технократ, замкнутый партиец вдруг предстал мечтателем, мистиком. Нашёл в Куравлёве собеседника, которого не находил среди генералов, конструкторов, приземлённых хозяйственников. Куравлёв был благодарен за это Бакланову, видел в его сером, как алюминий, лице черты мечтателя.

— А что говорит вам Космос? Нас не задушит Яковлев?

— Космос на нашей стороне. Космос на стороне Советского Союза. Советский Союз — это и есть Космос!

Фотограф закончил работу, сложил аппаратуру в кофр.

— У меня к вам предложение, Виктор Ильич, — Бакланов отвёл Куравлёва в сторону, чтобы их не слышал фотограф. — Мы собираемся лететь на Новую Землю. Посмотреть, что осталось от старого атомного полигона. Казахи перекрывают нам Семипалатинск. Поедут начальник генерального штаба, главноком ВМФ, министр внутренних дел Путо, вице-президент Янаев. Может быть, Крючков. И я. Присоединяйтесь.

— Разумеется! В газете “День” появится репортаж с Новой Земли.

— Вот и ладно. Через два дня вылетаем.

Через день в газете вышла полосная беседа с Баклановым. На снимке Бакланов и Куравлёв сидели голова к голове, как два надвратных льва, и что-то показывали друг другу на пальцах. Беседа вызвала бешенство в “перестроечной” прессе. Закрепила за газетой “День” репутацию рупора генерального штаба.

### Глава тридцать четвёртая

Ранним утром Куравлёв приехал на правительственный аэродром во Внуково. Было солнечно, ясно. Редкие облака по-летнему бело-голубые. Окрестные леса стояли тучные, в тяжёлой зелени, напитавшись за лето влагой и светом. Сладко пахло скошенной травой — косили взлётное поле. Самолёт стоял белоснежный, одинокий, готовый к полёту. В маленьком здании аэропорта пили кофе, радуясь нечастому поводу собраться вместе не на рабочем заседании, а за чашечкой крепкого кофе.

Бакланов представлял Куравлёва. Секретарь ЦК, министр внутренних дел Борис Карлович Путо, любезный латыш, крепко пожал Куравлёву руку:

— Давно хотел познакомиться с вами. Отличная беседа с Баклановым в вашей газете. Давайте дружить.

Вице-президент Янаев, только что с курорта, имел золотистый загар. Такой загар получают не под открытым солнцем, а под легким тентом, лоя отраженные от моря вспышки ультрафиолета.

— Никогда не был на Новой Земле. Летай, летай, а всю Россию не облетишь, — он дружески пожал Куравлёву руку, и тот подумал, что беседа с вице-президентом в газете “День” вызовет сенсацию.

Начальник генштаба, отяжелевший генерал армии, был в рубашке с короткими рукавами, не скрывавшими волосатых рук.

Командующий ВМФ был немолод, сух, строен, умудрился не расползнуться в дальних плаваниях, совершая по палубе многочасовые прогулки.

Куравлёв оказался среди людей, которые прежде были для него недоступны. До них было не дотянуться. Теперь же они были рядом, обладали человеческими чертами, были обыденны и доступны. Пустили в свой круг Куравлёва, пусть с некоторым удивлением, но приветливо.



Бакланов казался энергичным, не похожим на усталого, с алюминиевым лицом технократа. Радостно оглядывал соседние рощи, вдыхал запах вянувшего сена.

— Вот, Виктор Ильич, ещё несколько чашечек кофе, и вы станете членом Политбюро, — пошутил Бакланов.

— А что говорит вам Космос, Олег Дмитриевич? Звёзды на нашей стороне?

— Красные звёзды на нашей.

Их пригласили к самолёту. Поднимались на борт и занимали места в головном салоне, где стоял стол и была разложена карта Новой Земли. Помощники, ординарцы, офицеры управлений генштаба прошли в хвост самолёта и заняли кресла. Турбины вздохнули, самолёт покатил по полю, взлетел. Летняя земля с лесами, речками, дачными посёлками стала удаляться. По ней плыли прозрачные тени облаков.

Куравлёв сидел чуть в стороне от стола. Гул турбин мешал слышать разговоры тех, кто склонился над картой.

— “Кузькина мать” вот здесь, в этом месте.

— Но только подземные взрывы, надо учесть ландшафт.

— Произвести замеры фона.

— А “роза ветров” в зимнее и летнее время?

— Нельзя допустить, чтобы полетело на Архангельск и Мурманск, да и норвеги завуют.

— И ещё учтите: там олени пастбища, ненцы пасут стада.

Куравлёв прислушивался к разговорам. Было чувство, что, помимо атомных дел, будет обсуждаться нечто ещё, секретное и опасное, связанное с заговором, исключаяющее посторонние глаза и уши, системы прослушивания. Оттого и выбрана Новая Земля, едва ли не Северный полюс, чтобы избежать утечек, сохранить в тайне драгоценную информацию. Но было не ясно, почему его подпустили так близко к сердцевине заговора, какая ему уготована роль.

Разговоры над картой Новой Земли завершились. Карту убрали. Две молоденькие стюардессы застелили стол скатертью. Появились закуски, бутылки, рюмки. Не забыли и тех, кто дремал в хвостовой части салона.

Началось застолье на высоте десяти тысяч метров, с тостами, с аппетитно поедаемыми закусками. Куравлёв лишь пригубил коньяк. Его занимали тосты, в которых проскальзывали скрытые смыслы, нечаянные оговорки. Они намекали на неведомый замысел, собравший вместе могучих мужей и повлекший их на Северный полюс.

— Пьём за здоровье Владимира Александровича Крючкова. Пусть скорее излечивается от гриппа. Он должен быть, как стеклышко. Одним словом, за холодный ум и горячее сердце! — Начштаба осушил рюмку.

— Запуск атомного полигона, товарищи, требует точности и быстроты. Точности и быстроты требуют наши действия, которые всё ещё подлежат согласованию. За всё хорошее! — Вице-президент Янаев браво, с особой лихостью застольного тамады опрокинул рюмку, подцепив вилкой лепесток сёмги.

— Мне кажется, что всё-таки мы должны были проинформировать Михаила Сергеевича. Вы доложили ему, Олег Дмитриевич, но он не сказал ни “да”, ни “нет”, — осторожно заметил Главком флота, поставив на стол недопитую рюмку.

— Михаил Сергеевич сам корректировал списки. Он внёс туда Стародубцева. — Бакланов чокнулся со всеми, а чокаясь с Куравлёвым, сказал: — Красные звёзды за нас! Космос за нас!

Борис Карлович Пуго обвёл всех карими ясными глазами и произнёс:

— Здесь главное: сказал и сделал. Язов в воскресенье прилетает из Ферганы и в понедельник будет на совещании.

Куравлёв слушал, и ему казалось, он читает шифрограмму. Её полное содержание от него ускользало, но по косвенным признакам речь шла о каком-то близком событии, в соседстве с которым он находился.

Самолёт стал снижаться и летел над морем. Оно было зелёное, в мелкой ряби шторма. Куравлёв подумал, что, быть может, по той же траектории летел четырёхмоторный бомбардировщик, спускал на парашюте водородную бомбу, затмившую океан и небо, и землю слепящим шаром огня. Самолёт опустился на бетонную полосу, убегающую в зелёную тундру с негаснущим солнцем, окружённым кольцами радуг. Тут же виднелись капониры, и тонкие, с плавными линиями крыльев и хвостовых оперений перехватчики.

Всё общество прямо с самолёта направилось к столам, где крепкие гарнизонные официантки разливали раскалённую уху, потчевали строганиной, вяленой олениной, множеством ягодных настоек. Подкладывали жареную дичь. Все забыли трапезу в самолёте и начали с белого листа. Макали в солёный перец розово-белые завитки строганины, хлебали, обжигаясь, уху, лакомились колбасками из оленины. Не забывали наливать водку или настойку с плавающей красной ягодкой.

— Товарищи, я нахожу, что Новая Земля гораздо лучше Старой, — острит Янаев. — А настоечка у вас радиоактивная? Ой, как шибает!

Официантки деликатно улыбались.

— А теперь, товарищи, — провозгласил начальник гарнизона, — прощу в баню. Самая северная баня в Советском Союзе. Веники берём на Северном полюсе! Банщиками работают белые медведи!

Баня была бревенчатая, из кругляка. Камни на каменке стали седыми от жара. В тазах мокли душистые веники. Маленький бассейн выложен керамической плиткой. Раздевались, вешали на крюки одежду. Входили в пекло, где воздух туманился от жара, а на досках выступала смола. Кидали на камни ковши воды. Ахали от огненного взрыва, который пролетал под потолком, обжигал голые плечи, выдавливал из глазниц очумелые глаза. Хлестались вениками, словно хотели забить себя насмерть. Вырывались из пекла в прохладный предбанник. Плюхались в бассейн, ревели, орали, задыхались от хрипа. И снова лезли в геенну огненную.

Куравлёв парился со всеми. Как и все, орал, падая в ледяной бассейн, возвращался в парилку, вжимал голову, когда под потолком проносился огненный змей. Но при этом его не оставляла весёлая мысль. Эти великие мужи, властелины народов, голые ничем не отличались от остальных смертных. Мундиры, эполеты, строгие пиджаки с орденскими колодками делали их значительными. Но как только всё это спадало, и они оставались голыми, то превращались в обыденных смертных, коих миллионы.

Голыми они обнаруживали свои телесные несовершенства. У начштаба от ожирения образовались огромные груди, они колыхались, как у женщины. У главкома флота на ноге не было двух пальцев, их отхватило чем-то острым. У Янаева на шее вспучился большой жировик. Когда распаренное тело Янаева краснело, жировик оставался белым, был похож на гриб “дедушкин табак”.

Но ещё одна мысль мучила Куравлёва. Все они казались недалёкими, почти примитивными для того дела, которое затевали. Куравлёв не знал, что это за дело, но оно требовало изощрённости, гибкого ума. Всего того, чем в полной мере обладали “перестройщики” Яковлев, Франк Дейч, Явлинский, Чубайс. Множество советников. Всё многочисленное дружное племя, которое ополчилось на государство, готовило ему бесславный конец. Государственные мужи владели флотами, воздушными армиями, разведкой, казной. Но не владели тем сатанинским интеллектком, каким владели противники. И это мучило Куравлёва, когда он плескался в ледяном бассейне с Янаевым, который выкрикивал:

— Эхма! Забодай меня комар!

После долгого перелёта, сытного ужина, огненной бани, казалось, наступило время отдыха. Но только для Куравлёва, которого отвели в гостиничный номер. Остальные уединились в небольшом залеце в той же гостинице, выставили у входа охрану. Отправили спать сопутствующую группу офицеров, а сами собрались на совещание.

Куравлёв не был приглашён и лежал в своём номере, среди ровного безмолвного света, видя сквозь закрытые веки негасимое солнце. Веки были

прозрачные и не задерживали лучей. Ровная белизна проникала в него не только сквозь измученные глаза, но и сквозь поры тела. Свет казался раствором, в котором Куравлёв плавал, как в огромной колбе.

Он устал с дороги, хотелось спать. Но свет не давал. Он погружал Куравлёва в сновидение наяву. Ему виделось множество маленьких кубиков, которые он силится собрать. Но едва он строил из них башню, как они рассыпались и разбежались, как маленькие человечки. Возникали пирамиды, которые он хотел сложить в правильный геометрический ряд. Но едва ряд складывался, как пирамиды разбежались, словно крохотные гномики, и он снова их пытался собрать.

Ему показалось, что где-то рядом, совсем близко, находится мама. Он не видел её, но чувствовал её присутствие, её нежность. Несколько раз позвал: “Мама! Мама!” Ему стало казаться, что его окружает множество невидимых бесцельных тел. Они непрерывным роем взлетали вверх и, как тени, касались его. Он подумал, что это души умерших покидают Старую Землю и несутся к Новой Земле, чтобы отсюда, от Северного полюса, продолжить путь всё выше и выше. Ему казалось, повторяется сюжет его книги “Небесные подворотни”. Он предвосхитил в ней этот негаснущий свет, души умерших, улетающие сквозь “небесную подворотню”. Он спал и не спал. Это была мука. Его кто-то мучил, посылал пригоршни кубиков и пирамидок, дарил их ему, а потом отбирал. Он сходил с ума. Так действовала на него радиация давнишнего взрыва. В этом особенном, близком к полюсу месте пространство сужается в трубку, сжимает магнитные линии, и это сжатое магнитное поле управляет его мозгом, толкая в другие миры.

Куравлёв мучился. Думал о тех, кто совещается в соседней комнате. Они подвержены тем же неведомым излучениям, которые искажают мир, приводят к ложным решениям.

Он очнулся. Оказывается, он спал всё это время и бредил во сне, сражаясь с миражами, с радужными кольцами негасимого солнца.

Его спутники выглядели чуть помятыми, но вполне бодрыми. Быстро выпили кофе и отправились на вертолётную площадку совершать облёт территории.

Вертолёт шёл высоко над тундрой. Куравлёв прильнул к иллюминатору, в котором лучился солнечный спектр. Тундра казалась ровной, зелёной, с чёрными озёрами, которые вдруг вспыхивали, как зеркала, попадая на солнце. Ему померещилось, что продолжается недавнее безумие. Земля внизу вдруг стала жидкой, поплыла, полилась, стала куда-то сползать. Он не сразу понял, что это огромное стадо оленей, испуганное вертолётном, разбегаются в стороны. Они пролетали над Маточкиным Шаром. Земля была покрыта огромной свалкой. Бесчисленные жестяные бочки, обрывки кабелей, ржавая арматура, остатки каких-то сооружений. Всё, что осталось после ядерных испытаний.

Вертолёт ушёл от берега в море. Оно было зелёное, восхитительное. Бакланов подошёл к Куравлёву, стал что-то показывать в иллюминаторе. В море плыла белая медведица с медвежонком, который вцепился ей в загривок.

— Ниже! Ниже! — показывал Бакланов вертолётчиком.

Вертолёт снизился, сделал круг, и было видно, как медведица, огрызаясь на вертолёт, раскрыла пасть: белые клыки, розовый язык. Медвежонок теснее прижался к материнской спине.

После облёта опять состоялось совещание, на которое Куравлёва не пригласили. Начальник гарнизона сообщил, что через пару часов будет уха на берегу моря.

— Гольцов никогда не видали? Интересная рыба, пахнет свежими огурцами.

Он сунул руку в ведро, кипящее рыбой. Достал рыбину с открытым ртом и выпученными глазами. Дал Куравлёву понюхать. Рыба действительно пахла слизью, морем и свежими огурцами.

— Пока товарищи совещаются, вы возьмите удочку, спуститесь к морю, поймите гольца.

Начальник гарнизона снабдил Куравлёва удочкой, насадил на крючок наживку, забросил в море. Некоторое время смотрел на поплавок, а потом ушёл. Куравлёв остался на каменистом берегу, где плескалось море. Смотрел на поплавок, качавшийся на волне. Он не знал, о чём совещаются властные мужи. Быть может, о полигоне, но, быть может, о чём-то грозном, предстоящем, которое он выкликал, ожидал, а теперь вдруг испугался. Испугался непоправимой ошибки, небывалого краха, который опрокинет множество жизней, и жизнь Куравлёва, и жизнь жены Веры, и сыновей, Степана и Олега, и жизнь такой далёкой, недоступной, но любимой Светланы. Должно быть, она забыла о нём и счастливо живёт с Пожарским в Анкаре, куда Куравлёву никогда не попасть.

На волнах колыхалась доска с обугленными краями. Куравлёву казалось, что это обломок разбившегося о скалы корабля. Он видит остатки кораблекрушения. Волны медленно прибывали доску к берегу. Куравлёв не хотел, чтобы доска коснулась камней. Оттолкнул её. Но доска, подгоняемая волнами, снова приблизилась к берегу. Помрачение Куравлёва продолжалось. Он подумал, что это панель Дубового зала ЦДЛ. Что неизвестными путями она оказалась на Новой Земле и преследует Куравлёва. На этой дубовой панели, взятой из стены у готического окна, сидела маленькая изящная женщина с рыжими волосами. Он отчётливо видел её стройные ножки, шляпку, из-под которой выбивались рыжие волосы. Он оттолкнул дубовую панель, но доска снова стала приближаться к берегу. Рыжеволосая, закинув ногу на ногу, кокетливо ему улыбалась. Куравлёв брызнул себе в лицо солёной морской водой. Оставил удочку и пошёл наверх, где на скале был накрыт стол, блестя бутылки, дымилась уха.

Они улетали с Новой Земли. Многие дремали в креслах. Но только не государственные мужи. Облачённые в свои мундиры и пиджаки, они вновь собрались за столом, рассматривая карту. Но теперь это была карта Москвы. Куравлёв вematривался в береговую линию, и ему казалось, что он видит дубовую доску и на ней рыжеволосую женщину, которая ему улыбалась.

## Глава тридцать пятая

В тёплом московском воздухе появилось свечение. Оно возникает каждый раз в конце августа, когда утомлённая летом зелень парков и скверов начинает тонко сочиться позолотой, и этот золотистый воздух делает тёплыми фасады зданий, камень памятников. Лица даже тех, кто не вернулся в Москву с южным загаром, слабо сияют особой прощальной нежностью к уходящему лету.

Куравлёв был счастлив вернуться в Москву, в свою великолепную, свежую квартиру, где у каждого была своя комната. Все вместе: жена, дети, он сам, — разделённые толстыми стенами и длинными коридорами, не мешали друг другу, но чувствовали себя большой благополучной семьёй.

Куравлёв зашёл на маленький рынок, угнездившийся в глубине Палашевского переулка. Купил букет фиолетовых флоксов и золотых шаров — цветы осени. Поставил букеты в вазы в гостиной.

Старший сын Степан готовился к состязанию моделистов. Заканчивал модель крылатого автомобиля, управляемого по радио. Что-то паял, наносил на металлический лепесток капельку олова. От его паяльника струился синий дымок.

— Смотри не улети со своим автомобилем. Потом ищи тебя по крышам, — сказал Куравлев.

— Я поставил на нём маячок. Мама ползет на крышу и сразу найдёт.

После той демонстрации на улице Горького, когда Куравлёв выхватил сыновей из-под дубин, оба сына присмирели, примирились с отцом, стали реже ходить на молодёжные сборища.

Младший сын расправлял бабочек, которых изловил во время летних походов. Пинцетом брал бабочку с влажной тряпицы, где она возвращала гибкость своим хрупким крыльям и усикам. Помещал бабочку в липовую расправилку, накладывал на крылья узкие полоски бумаги, белые, как бинты.

Бабочка несколько дней сохла в расправилке, после чего сын переносил её в стеклянную коробку. Несколько таких коробок драгоценно сияли на столе.

— Это что за бабочка? — Куравлёв указал на большую, с тёмно-лиловым отливом.

— Переливница. Представляешь, поймал сразу несколько переливниц у лужи после дождя. Они прилетали на водоной.

— А эта? — Куравлев кивнул на небольшую, огненно-красную, с золотом бабочку.

— Это червонец. Он летает, как молния. Золото мелькнёт и исчезнет. Я поймал его на лугу, когда он сел на луговой колокольчик.

— А ты знаешь, что все разведчики собирают бабочки? Это лучшее прикрытие.

— А Паганель тоже был разведчиком?

— Несомненно.

— А ты разведчик?

— Все писатели — это разведчики Господа Бога. Господь посылает их на землю, чтобы они добыли для него ценную информацию о людях. Писатель возвращается к Богу, и тот либо принимает информацию, либо прогоняет с глаз долой.

— А ты принесёшь ему ценную информацию?

— Это выяснится, когда я умру.

Сын, казалось, не расслышал ответ, сжал пинцетом мягкое тельце бабочки.

Вечером, когда в гостиной горела люстра, чудесно пахли фиолетовые флоксы, золотые шары напоминали деревенские палисадник, а за окном бесшумно полыхал перекрёсток, жена Вера положила руку на плечо Куравлёва:

— Витя, что происходит?

— А что происходит?

— Не знаю, но что-то тебя тяготит.

— Ничего.

— Но я же вижу. Твои звонки, телефонные разговоры, поездка на Новую Землю. Тебя окружают опасные люди. Ты вошёл в какой-то сговор. Боюсь за тебя.

— Никакого сговора, просто работа. Упорная работа в газете. Ты же знаешь, какой я упорный. Чем труднее и безнадежнее, тем я упорней.

— Я боюсь за тебя.

— Зачем бояться? Мы живём в довольстве, наслаждаемся этой квартирой. Афганистан, книга, орден. Все благодаря моему упорству. Бывают срывы, когда я могу сломаться. Александр Николаевич Яковлев решил испытать моё упорство. Обвинил в государственном заговоре, пригрозил тюрьмой.

— Я очень боюсь. Что-то приближается, ужасное, смертельное. И ты в плену этого ужасного и смертельного.

— Посмотри, какие чудесные флоксы. Это цветы осени. Всё будет хорошо, моя милая. Я всё преодолею. Я упорный.

Жена убрала руку с плеча Куравлёва и погрузила лицо в фиолетовые флоксы. Закрыла глаза, словно пьянела.

Куравлёв помнил, как его ломали. Он оставил профессию ракетчика, покинул дом с любимыми мамой и бабушкой и кинулся в странствия, как в пучину с обрыва. Пересекал пустыню с верблюдами. Гонял во льдах упряжки собак. Плавал на сейнере, вытягивая сети, полные рыбы. Работал на раскопках с археологами. И всё для того, чтобы писать. Утолить сладостную потребность изображать этот мир.

Вернулся в Москву, привёз кипу рассказов. Не зная им цену, решил показать знатоку, писателю, владеющему волшебным искусством. Ему порекомендовали писателя по фамилии Финк, старичка, который воевал в Иностранном легионе и написал об этом книгу. С робостью, благоговая, Куравлёв отнёс Финку кипу рассказов. Был приглашён через неделю. Финк добросовестно перечитал рассказы и посоветовал Куравлёву больше никогда не браться за перо:

— Делайте, что хотите. Строгайте табуретки. Копайте землю. Работайте напильником. Но никогда не берите в руки перо.

Большого страдания Куравлёв ни прежде, ни потом не испытывал. Ему отказывали не просто в мастерстве. В нём отрицали сердцевину, личность, перечёркивали все усилия, все жертвы, которые он принёс во имя творчества. Уничтоженный, с потухшим сознанием, он вернулся домой. Сжёг во дворе кипу мерзких рассказов. Он очутился на краю смерти. У него поднялась температура. Он был чёрный, с пустыми глазами. Жена в белой ночной рубашке принялась его утешать. В кровати чмокал во сне их первенец Стёпушка. Куравлёв чувствовал, что колеблется на зыбкой струне. Минуту, и он сорвётся с каната и разобьётся.

Он почувствовал под сердцем толчок, угрюмое упорное противодействие наступающей смерти. Зажёг настольную лампу, взял бумагу и среди ночи написал один из лучших своих рассказов, вошедших в первую, одобренную Трифоновым книгу. Это ночное писание, одинокое сопротивление смерти, угрюмое, огненное стремление к победе он не забывал никогда. Знал за собой способность побеждать смерть.

За окном пылал ночной перекрёсток. Туманно светила рубиновая звезда. Куравлёв сидел в кабинете и мучительно, в который раз, вычерчивал схему предполагаемого заговора. “Союзный Центр” с Горбачёвым и примыкающими к нему государственными мужами он заключал в овал. “Параллельный центр” с Ельциным, которого окружали Яковлев, Шеварднадзе, рой советников, среди которых были политологи из “Рэндкорпорейшн”, он поместил в другой овал. Соединял их стрелками, смыкал, размыкал. Чертил, перечёркивал. Искал ответ, какая сила разомкнёт оба овала, они сомкнутся, как два урановых полшария, и произведут взрыв чудовищной силы. Ответ всплывал и вновь погружался в глубину, в хитросплетение имён, интриг, недомолвок. В изнеможении оттолкнул исчерканные листы. Лёг спать на диван. Но и ночью кошмар продолжался. Возникали стрелки, круги, имена, линии связей, направление главного удара, и всё тонULO в расплавленном олове большого воображения. Он был бессилён разгадать жуткий ребус.

Но внезапно во сне ребус был разгадан. Появилось ясное знание. Обнаружился ключевой элемент заговора. Лицо того, кто совершит смыкание урановых полшарий.

Это сновидение потрясло. Можно было бежать в газету, оповестить людей о грозящей катастрофе. Можно звонить Бакланову, назвав лицо, которое всех погубит.

Куравлёв проснулся, и в момент пробуждения открытие стало улетучиваться. Сон забывался. Всё превращалось в жидкое олово.

Его разбудил ранний звонок. Владимир Бондаренко, соратник по газете, задыхаясь, голосом, срывающимся на петушиное кукареканье, требовал включить телевизор:

— Ничего не знаешь? Горбачёв свергнут! Ельцин арестован! В Москву ввели войска! Наконец-то!

Куравлёв кинулся к телевизору. Диктор, который обычно вёл официальные передачи, освещал ход партийных съездов, комментировал парады, твёрдо, металлическим голосом сообщал: в связи с болезнью Горбачёва власть в стране переходит к Государственному комитету по чрезвычайному положению. Комитет берёт на себя всю полноту власти. Прекращает деятельность деструктивных антигосударственных сил. Восстанавливает нарушенное управление страной. Приводился состав Комитета. Вице-президент Янаев, председатель Совета министров Павлов, председатель Комитета государственной безопасности Крючков, министр обороны Язов, зампредседателя комитета обороны Бакланов, министр внутренних дел Пуго, председатель колхоза Стародубцев.

Куравлёв ждал, что назовут и его фамилию. Но её среди членов ГКЧП не было. Сверкнула догадка. Вот что привиделось ему накануне. Какое событие он увидел во сне, но не смог перенести его в явь. Оставил в расплавленном олове сна. Он чувствовал ликование, торжествовал. Кончились его страхи. Враги государства арестованы. Государство спасено. Об этом совеща-

лись государственные мужи на Новой Земле. Об этом принимали решение, а когда оно было принято, в самолёте на столе лежала карта Москвы с её проспектами, магистралями, учреждениями, к которым выдвигались войска.

Куравлёв подбежал к окну. По улице Горького вниз, к Кремлю, двигались танки. От их тяжёлого хода, рокота двигателей дрожали стекла. Колонна боевых машин пехоты вильнула острыми носами и ушла по Тверскому бульвару, оставив синий дым.

Надо было срочно отправляться в газету.

### Глава тридцать шестая

В газете “День” давалось полное заявление ГКЧП, состав Комитета. Куравлёв быстро, на одном дыхании, написал передовицу, где приветствовал Комитет. Давал ему наказы первых шагов после ареста Ельцина и подавления “перестройщиков”.

— Прошу вас работать в полную силу. Этот номер газеты будет историческим. Его будут показывать в музеях. Коллекционеры станут платить за него большие деньги, — обратился Куравлёв к сотрудникам.

— Этот “День” мы приближали, как могли... “День” победы! — пропел Бондаренко.

— Готовьтесь, товарищи. Мы становимся главной газетой страны. Слава ГКЧП! — воскликнул Нефёдов.

— Надо создать при газете свой аналитический центр, — заметил Султанов.

— Всё будет, друзья, всё будет! — воодушевлял Куравлёв сотрудников.

Он раздал задания небольшому коллективу газеты. Направил корреспондентов в город расспрашивать на улицах прохожих. Вступать в разговоры с военными, с этими сельскими парнями в танковых шлемах. Поручил взять интервью у деятелей культуры, выступавших против Ельцина и Горбачёва. Запустив механизм газеты, Куравлёв поспешил на улицы, чтобы стать свидетелем грандиозного события.

Было солнечно, людно. По улице Горького катились машины. Не было страха, паники. Люди подходили к танкам, заговаривали с экипажами. Глазели на проходящие колонны, как глазуют на технику во время репетиции парада. На перекрёстке стоял танк, направив пушку на Тверской бульвар. Танкисты сидели на броне. Девушки протягивали танкистам цветы.

— Покатайте на танке!

Старушка наливала из термоса кофе, поила танкистов.

— Пейте, сынки. Мой-то муженек, Царство Небесное, был танкист. Любил выпивать.

Куравлёв направился к Белому Дому, где должен был заседать Верховный Совет. Белый Дом казался огромным кремовым тортом. Вокруг было людно, но не очень. Люди входили в Белый Дом, выходили, собирались редкими группками. Перед Белым Домом стоял танк, повернув пушку в сторону набережной. Командир танка без шлема стоял подле машины, общался с людьми.

— Да никого мы не будем давить. Стали тут, чтобы вас защищать.

— А от кого защищать?

— А кто нападёт. Может, пьяный.

— А если Крючков нападёт?

— И от него защитим.

— А если Павлов?

— И от него.

— А если Язов?

— Он не нападёт. Он нас сюда и поставил.

Танкисту нравилось внимание людей. Он был экскурсовод, дающий пояснения любопытным. Ему несли бутерброды с колбасой. Кто-то пытался налить водку. Танкист брал бутерброды, но от водки вежливо отказался. Кругом было много фотографов, виднелись телекамеры. Танкист с удовольствием позировал.

Куравлёв собирался пройти в Белый Дом, посмотреть на депутатов, увидеть воодушевление одних и подавленность других. Тех, кто рьяно поддерживал Ельцина. Тот был арестован, и они лишились председателя.

От набережной к Белому Дому вырвалось три “мерседеса”. Развернулись у танка и встали. Из передней машины вышел Ельцин. Его окружала свита. Защёлкали фотоаппараты, загорелся огонёк телекамеры. Ельцин бурно раздвигал руками охрану. Прошёл к танку. Ему помогли забраться. Вслед за ним залезли другие, все, кто мог разместиться на броне. Ельцин держался за пушку. Кто-то сзади поднёс ему мегафон. Рыкающий голос, похожий на грохот танкового двигателя, полетел над толпой.

— Граждане России, в стране произошёл государственный переворот. Кучка предателей попыталась захватить власть, устранить законного Президента. Остановим преступников!

Куравлёв был потрясён. Ельцин не арестован. Явился, как призрак, из воздуха, и сразу на танк, и с брони обращается к народу с воззванием.

В воззвании повторялось: в стране произошёл государственный переворот. Группа заговорщиков изолировала Горбачёва, который находится на отдыхе в Крыму, и пытается захватить власть. Не дадим осуществиться перевороту! Все, как один, на защиту демократических завоеваний “перестройки”! Против террора, за идеалы демократии!

Его снимали. Он сжимал кулак, двигал желваками. Знал, что на танке он выглядит мощно. Куравлёву казалось, что туловище Ельцина переходит в танковую броню, в гусеницы, а сам он, с ходящими желваками, набыченной головой, бурно дышащими ноздрями, является кентавром. Сильным рыком он запустит двигатель и, грохоча гусеницами, двинет через Москву, круша и ломая. Ельцин кончил речь, сошёл с танка, скрылся в подъезде Белого Дома. Множество людей побежало за ним, выкрикивая: “Ельцин! Свобода!” Куравлёв, потрясённый, стоял, не понимая, почему не арестован Ельцин. Почему не сработал план ГКЧП. Какая сила вмешалась и сорвала план. Какой обман таился в его вешнем сне, который обернулся злой насмешкой.

Куравлёв увидел, как к танку подкатила машина. Из неё вышел виолончелист Мстислав Ростропович, с отвисшими губами, с тиком, похожий на юродивого. Ему поднесли футляр, достали виолончель. Ростропович стал играть перед танком страстную, виртуозную музыку, быть может, Моцарта. В музыку было ликование победы. Музыканту аплодировали. Кто-то подбежал и протянул ему автомат. Ростропович отложил виолончель, неумело через голову нацепил автомат. Счастливо позировал, слюняво улыбаясь, как блаженный, пока его снимали, а потом увели в Белый Дом.

Не понимая случившегося, предчувствуя непоправимую беду, Куравлёв вернулся в газету. Сотрудники были растеряны, требовали от него объяснений. Куравлёв позвонил Бакланову. Помощник ответил:

— Олега Дмитриевича нет на месте. Когда появится, я вас соединю, Виктор Ильич.

Номер газеты был почти готов. Куравлёв распорядился крупным шрифтом на первой полосе набрать: “Слава ГКЧП!” Но лозунг звучал надрывно, неискренне. Куравлёв включил телевизор. Передавали пресс-конференцию ГКЧП. В президиуме сидели Янаев, Пуго, Бакланов, Павлов и Стародубцев. Не было Крючкова и Язова.

Все пятеро сидели плотно друг к другу, как куры на насесте. И было в них что-то птичье, пугливое. Словно их лишили языка. Поразили косноязычием. Журналисты бойко задавали вопросы.

— А правда ли, что Горбачёв отравлен?

— А кто поимённо должен быть арестован?

— Вы не бойтесь, что всё это кончится грандиозным судебным процессом, и вы уже сидите на скамье подсудимых?

Ответы были рыхлые, квёлые. В них не было воли. Их словно заколдовали, опоили зельем. Они были несравнимы со свирепым кентавром, с его могучей волей и сокрушительной мощью. Казалось, они побывали под гусеницами его танка. И зал это чувствовал, вопросы становились всё ироничнее. Казалось, зал смеётся над ними.



Куравлёву стало страшно. Стена, которая защищала государство, на глазах осыпалась. Эту рыхлую саманную стену проламывал танк. Человек с бычьим лбом и свирепыми глазами знал свою цель, добывал победу. Куравлёв вдруг вспомнил, как Янаев бутылхнулся в бассейн и радостно охнул:

— Эхма! Забодай меня комар!

Куравлёв вернулся в газету. Макет “Дня” висел на стене с бравурным лозунгом “Слава ГКЧП!” Слава этим растерянным беспомощным людям, которых переиграли, обманули.

Куравлёв отправил газету в набор с обречённым чувством, как отправляют в крематории гроб в щель к горящим печам. Он снова покинул редакцию и поехал к Белому Дому. Не доехал. По Новому Арбату шла многотысячная колонна. Впереди, окружённый сподвижниками, шагал Ельцин. Несли трёхцветное полотнище, перекрывающее весь проспект, от тротуара до тротуара. Полотнище напоминало нож бульдозера, который срезал любые препятствия, сдвигал в сторону любые помехи. Сила, которая двигала колонну, была нечеловеческой, имела иную природу. Она смещала материи. Это была сила самой истории, которая крылась под спудом и вырвалась на свободу. Творила свою историческую нечеловеческую волю.

Куравлёв прижался к стене. Мимо двигалось множество лиц. Иные он узнал, ибо они появлялись на телеэкране. Промелькнул Франк Дейч, с озарённым лицом. Бочком, сбиваясь, просеменил Марк Святогоров. Вдруг показалось — это могло померещиться — в толпе прошагал Фаддей Гуськов, что-то выкрикивая.

К вечеру Куравлёв вернулся домой. Жена ни о чём не спрашивала, глядя на его почерневшее лицо. На телеэкране танцевали балерины, глупые, легковесные, словно это была насмешка над случившейся жуткой бедой. На перекрёстке стоял танк. Вокруг толпился народ. Танкист что-то объяснял, а ему кидали цветы.

### Глава тридцать седьмая

Весь следующий день был мутный, рваный. Куравлёв не понимал, что происходит. Опять позвонил Бакланову, и услышал вежливый ответ:

— Олег Дмитриевич в отъезде. Как только вернётся, я вас сразу соединю.

По радио “Свобода” Франк Дейч сообщил, что несколько членов ГКЧП летали к Горбачёву в Форос, но тот их прогнал. По другим источникам, среди членов ГКЧП возникли разногласия, и военное положение скоро будет снято. В редакцию “Дня”, надеясь что-нибудь выведать у осведомлённого Куравлёва, звонили министры, которых он не знал, звонил начальник Главного политического управления армии, которому было известно о близости Куравлёва к начальнику штаба. Все хотели узнать обстановку. Это говорило об общем смятении, об отсутствии информации. О военном положении, при котором работали все телефоны, выходили все газеты.

Вышел номер “Дня” с бравурным лозунгом, набранным красной краской: “Слава ГКЧП!” И сразу начались звонки из демократических изданий.

— А правда ли, что вы летали на Новую Землю, чтобы там с членами ГКЧП обсуждать детали путча?

— А почему ваше имя отсутствует среди членов ГКЧП? Значит, есть тайные списки?

— А кто, кроме Ельцина, подлежал аресту? И правда ли, что в “Матросской тишине” уже подготовили отдельные камеры?

На одни вопросы Куравлёв отшучивался. На другие отвечал зло. От третьих отмахивался.

Он тосковал. Почему с лозунгом “Слава ГКЧП!” он остался один, а сам ГКЧП испарился? Почему он в одиночестве отбивается от натиска врагов, и никто из государственной прессы не спешит к нему на помощь? Почему второй день на телеэкранах танцуют насмешливые балерины, похожие на голубых насекомых? Их выпустили специально, чтобы мучить его. Они напоминают голубые цветочки на костяной маске смерти, что явилась в ЦДЛ. Где друзья, в час его муки покинувшие его?

Куравлёв оставил машину и шёл по людной улице Горького мимо Елисеевского магазина. Он увидел женщину, худую, с измождённым лицом, в длинном до земли синем платье, всю в кружевах, в шляпе, увешанную бурами, колокольчиками, амулетами. Женщина шла, пританцовывая, как в менуэте, улыбалась неподвижным, ярко накрашенным ртом. Она приподнимала подол платья, словно перепрыгивала лужи. Тогда становились видны белые чулки и стоптанные туфли. Женщина кланялась встречным, делала книксены, снимала шляпу, рассыпая седеющие волосы. Она обращалась ко всем по-французски: “Мадам! Месье!” Но когда с кем-нибудь случайно сталкивалась, начинала грязно браниться.

Она увидела Куравлёва, устремилась к нему. Повисла у него на локте:

— Месье, я вижу, вы приличный человек. Избавьте меня от этой черни. Я приглашаю вас к себе. У меня ничего не приготовлено, только суп. Мы интересно проведём время.

Куравлев отшатнулся, почувствовав удушающий запах пудры. Женщина не отпускала его. Он вырвался и побежал. Она гналась за ним и хохотала:

— Куда же вы, месье! Суп очень вкусный. Мы прекрасно проведём время!

Куравлёв с трудом от неё ускользнул. Ему казалось, он пропах удушающей пудрой, дешёвыми духами и каким-то несвежим супом.

Явился домой измученный. Ничего не объясняя жене, затворился в кабинете и заснул на диване. И во сне за ним гналась женщина в синем платье. Она снимала белые чулки, обнажая худые, в синих венах ноги. Куравлёв проснулся, когда было уже темно. Потолок полосовал огненный крест. Куравлёв собрался и вышел из дома.

Он свернул с улицы Горького на Садовую и шёл мимо Концертного зала, театра Сатиры, мимо окаменелого Маяковского и ресторана “Пекин”. На улице было пустынно, хотя в такие тёплые летние вечера клубилась молодёжь, играла музыка. Куравлёв шёл по опустелому городу, и ему казалось, вокруг что-то меняется. Сдвигались дома, жильцы переселялись из одной квартиры в другую, асфальт начинал странно бугриться. Слово город был слеплен из пластилина, и неведомая сила сминала его.

Приближаясь к Новому Арбату, у въезда в туннель он заметил скопление людей. Ходили какие-то активисты в белых повязках. Делали распоряжения. Крутились репортёры, водили телекамерами, прицеливались к чему-то, что ещё не появилось. Внизу на входе в туннель была собрана гряда арматуры, построена самодельная баррикада. Активист с белой лентой на рукаве давал указания трём молодым людям, которые стояли перед ним навытяжку. Их лица в сумерках казались бледными, нервными. Светились странным светом, каким светятся ночью болотные цветы. Они слушали активиста, который указывал вдоль Садового кольца, а потом наверх, к повороту на Белый Дом. Операторы их снимали. Молодые люди видели, что их снимают, хотели казаться бравыми, но продолжали волноваться.

Их к чему-то готовили, что-то внушали, чем-то оснащали. Куравлёв не разбирая слов, только слышал: “За свободу! За нашу и вашу свободу!” Ему стало страшно. Показалось, что три молодых человека намерены совершить нечто, что обернётся ужасом для них самих. В этом месте у въезда в туннель сошлись жестокие силовые линии. Этими линиями, как путами, связаны, и не в силах выпутаться, трое парней, и активист с белой повязкой, и он сам, Куравлёв. Всех стянуло к устью туннеля, чтобы дать совершиться чему-то непоправимому.

— Внимание! — крикнул активист и выбежал из туннеля. — Внимание!

Парни остались внизу. Куравлёв в руках у одного заметил бутылку, которую тот держал за горло. Вдалеке на Садовом кольце раздался звенящий лязг. Из сумерек, светя огнями, появились боевые машины пехоты. Три остроносых танкетки теснили к тротуару проезжие автомобили. Они приближались. Были видны их башни, тонкие пушки. Из командирских люков торчали головы в шлемах. Журналисты, давя друг друга, снимали. Зажглись лучи телекамер. Куравлёв чувствовал, что приближается последний момент, когда можно задержать беду. Нужно кинуться на проезжую часть, замахать руками, остановить машины, развернуть их обратно.

Первая машина стала погружаться в туннель. Парень с бутылкой пропустил её, забежал с кормы и кинул бутылку. Огонь загорелся. Машина встала, дернулась, рванула назад. Парень, бросив бутылку, стоял, раскрыв руки, не желая пустить машину. Танкетка кормой сшибла его, подмяла под гусеницы, прокрутила среди катков и зубчатой стали кровавое месиво костей.

Второй парень ловким скачком кинулся на броню, пытаясь достать торчащую из люка голову. Машина рванулась, сбросила парня. Из-под гусениц раздался истошный вопль, как крик убиваемого зайца. Машина помчалась в туннель, волоча за собой изуродованное тело.

Третий парень набегал на машину, но на броне запульсировал огонёк пулемёта, и парень упал, а машина на большой скорости, огИБая парня, ушла в туннель, раздавив откинутую на асфальт руку.

Кругом кричали. Мерцали фотоаппараты. Пересекались лучи телекамер. Народ выкрикивал:

— Убийцы! Убийцы!

И уже сыпали фиолетовыми вспышками милицейские машины. Подкапывала с воем карета “скорой помощи”. Куравлёв понимал, что случилось необратимое. Эти кровавые кости, застрявшие в гусеницах, эта раздавленная на асфальте рука опрокинули всю громадную махину ГКЧП.

Ночью дома он подошёл к окну и видел, как по улице Горького уходят танки. Войска покидали город. Танк, что стоял на перекрёстке, фыркнул дымом, крутанулся волчком и пошёл догонять остальные машины.

### Глава тридцать восьмая

Наутро в Москве не было ни единого танка, не одной машины пехоты. Броня ушла, оставив в городе тёмные вмятины. Бушевало телевидение. Депутаты Верховного Совета, перекрикивая друг друга, клеймили путчистов, чтобы никто не посмел заподозрить их в связи с заговорщиками. Коммунисты на митингах жгли партбилеты, показывали, как горит в их руках красная книжица. Александр Яковлев назвал Куравлёва идеологом путча, написавшим манифест путча “Слово к народу”. Газету “День” окрестил главным штабом путчистов. Появились первые сообщения об арестах. Показали Крючкова, взятого под стражу, маленького, с весёлой стариковской головкой. Янаев всё поводил плечами, совершал винтообразные движения шеей, словно хотел вывинтить себя из скверной истории. Стародубцев растерянно оглядывался, забыв закрыть рот, казался губастым деревенским мужиком. Маршал Язов, уже в тюрьме, сидел перед камерой в спортивных штанах и слезливо просил прощения, но почему-то не у Горбачёва, а у Раисы Максимовны:

— Простите меня, старого дурака. Бес попутал!

Ещё недавно могучие повелители сейчас были ничтожными, безмерно испуганными человечками. Куравлёв ждал ареста. Всё в нём ныло, тосковало, страшилось. Ждал, что в дверь позвонят и, как в былые времена, появятся офицеры в синих фуражках и поведут его вниз к машине. Было жаль жену и детей. По телевизору он услышал, что час назад арестован Бакланов. Вспомнил, как недавно Бакланов показывал ему плывущую в море медведицу с медвежонком. Это воспоминание о чудесном море, о косматом вольном звере лишь усилило боль.

Зазвонил телефон, который молчал всё утро. Звонил помощник Бакланова:

— Виктор Ильич, вы хотели переговорить с Олегом Дмитриевичем? Он у себя в кабинете.

— Но ведь он арестован?

— Нет, работает у себя в кабинете.

— Могу я его увидеть?

— Я вам выпишу пропуск.

Куравлёв оставил машину у Политехнического музея и направился мимо часовни Плевны. Ему попался человек с чёрными ужаснувшимися глазами. Должно быть, узнал его, и, казалось, волосы у него поднялись на загривке,

то ли от испуга, то ли от ненависти. Подгулявшая молодёжь окружила его: — Путьчист! Теоретик путьча! На фонарь его! — Куравлёв протиснулся сквозь звончественное сборище, получив болезненный удар в бок.

Город, по которому он шёл, который любил, знал его родные улочки и закоулки, город был против него. Против были люди, фасады, фонари, летящие в небе галки. Он был один, всеми покинут. Город мог его расклевать, растерзать, повесить, и никакой храбрец не кинется на помощь.

Перед входом в ЦК он показал постовому паспорт. У постового была синяя фуражка. Тот долго сличал с фотографией лицо Куравлёва. Куравлёв нервничал, ожидал, что его арестуют. Постовой вернул паспорт, и Куравлёв прошёл к лифту.

Коридоры были пусты. Ни единого человека, ни шагов, ни стука двери. Казалось, кабинеты наглухо заперты, и все недавние их обитатели, вкрадчивые, полные достоинства, враз покинули здание.

В приёмной Бакланова дверь была распахнута, помощника не было. Куравлёв прошёл в кабинет. В большом знакомом кабинете всё было перевёрнуто, стулья сдвинуты, шкафы раскрыты. На полу валялись книги, бумаги. Казалось, здесь прошёл обыск.

Бакланов, небритый, в несвежей рубашке, совал в хрустящую, разрубавшую бумаги машину какие-то листы. Они исчезали в машине, превращаясь в лапшу. Бакланов доставал всё новые бумаги, и они превращались в лапшу. Куравлёв смотрел на чавкающую гильотину, в которую Бакланов без устали совал бумаги. Ему казалось, что, запечатлённые на этих бумагах, исчезают навек чертежи великих изделий, формулы великих открытий, стихи великих поэтов. Быть может, неизданный Пушкин или вторая часть “Мёртвых душ”, или его собственная, лучшая, ещё не написанная книга.

Бакланов поднял голову, увидел Куравлёва:

— Скоро за мной придут.

— Но объясните, что случилось? Почему не арестован Ельцин? Почему ушли войска?

— Дрогнули Язов и Крючков.

И это скупое, ничего не объясняющее “дрогнули” ошпарило Куравлёва. Его тоска, многодневное ожидание победы и бездарный проигрыш всеведующих, всемогущих мужей, оказавшихся жалкими карликами, всё это хлынуло из него, как ливень:

— Никто не дрогнул! Все изначально дрожали! Вас обыграли! Это знали все советники, знали в “Рэндкорпорейшн”, знал Горбачёв, знал Крючков, этот человечек с весёлой стариковской головкой! Горбачёв сам составил список ГКЧП, включил крестьянина Стародубцева! Уехал на отдых в Форос, поручил вам якобы сделать вместо него “чёрное дело”. Убрать Ельцина, расчистить завалы, а потом вернуть Горбачёву власть! И вы поверили? Он с вами обошёлся, как с куклами! Крючков, этот маленький комитетчик, был главным в ГКЧП! Он должен был дать приказ на арест Ельцина. Он его не дал, и давать не хотел! Ельцин на танке назвал вас государственными преступниками. Вы и есть государственные преступники, бездарно проиграли государство! Вы метнулись к Горбачёву, просили его вернуться в Москву. Он прогнал вас, бросил на растерзание толпы! Вы металась между Москвой и Форосом, а Ельцин присваивал главные государственные полномочия! И теперь у Горбачёва нет полномочий! Нет Союзного центра, а есть Ельцин, который распустит Союз! Вас использовали, выбросили, и государство погибло! Вас всех повезут в тюрьму, а Крючкова на дачу! Контора, которой он управляет, не может ничего, кроме как ставить к стенке! Россия весь двадцатый век провисела на дыбе, а теперь будет висеть весь двадцать первый! Какое несчастье!

Куравлёв изо всех сил удерживал рыдания. Бакланов молча выслушал и сказал:

— Есть просьба. Борис Карлович Пуго просил взять у него документы, очень важные. Его через час арестуют. Если можете, поезжайте в Барвиху к нему на дачу и заберите документы.

— Хорошо, — подавленно сказал Куравлёв.

Бакланов подошёл, и они обнялись. Куравлёв покидал кабинет, слыша, как чавкает гильотина. Он шёл по коридору и слышал крик, шум многих шагов, звуки борьбы. Появились люди в чёрных пиджаках. Они держали за руки человека. Тот вырывался, падал на пол, и тогда его волокли. Они поравнялись с Куравлёвым, и он узнал в человеке того обитателя кабинета, с кем встретился неделю назад в коридоре, и тот слегка улыбнулся. Теперь, вырываясь, человек умоляюще посмотрел на Куравлёва:

— Помогите! Умоляю!

Его протащили мимо к кабинету. Дверь в кабинет была раскрыта. Человека волокли в кабинет, схватили за ноги и пихнули в раскрытое окно. Он исчез, издав в падении слабый крик. Люди в пиджаках вышли из кабинета. Посмотрели на Куравлёва, словно что-то решали. Повернулись и быстро ушли.

Дверь к кабинет оставалась открытой, открытым оставалось окно. Куравлёв стоял перед раскрытой дверью. Только что у него на глазах убили человека. Человек взывал о помощи, умолял Куравлёва, но тот не помог, испугался. Он знал, что настало время убийства людей. Вчера на Садовой он видел, как убили трёх парней, перемолов гусеницами. Сейчас увидел, как убили ещё одного. Впереди будет много убийств, много крови.

Он спустился в лифте, боялся, что люди в пиджаках догонят его. Показал паспорт постовому в синей фуражке и пошёл к Политехническому музею. На Рублёвском шоссе было необычно мало машин. То и дело проносились шальные чёрные “Волги” с фиолетовыми вспышками. В Барвихе он нашёл дачу Пуго. Ворота были раскрыты. Виднелся деревянный дом с верандой, цветник с астрами. Куравлёв не решался войти, искал кнопку звонка на воротах. С крыльца дома сбежало несколько людей, все в таких же чёрных пиджаках, будто сшитых у одного портного. Один нёс кейс, а другие, обступив его, защищали кейс. Прошли мимо Куравлёва, не взглянув на него. Свернули за угол, где раздался шум отъезжающей машины.

Куравлёв не решался войти в дом. Надеялся встретить Пуго на пороге. Навстречу с белым лицом, с рассыпанными кудряшками, хватая воздух рыбым ртом, вышел Явлинский.

— Как же можно так прямо! Я же просил!

Он едва не упал с крыльца. Шатаясь, пошёл к воротам, и снова прошумела отъезжающая машина.

Куравлёв поднялся на крыльцо. На веранде стоял букет астр. Висел писанный маслом портрет стареющей женщины. На диване лежал огромный кот с медовыми глазами. Куравлёв шагнул в комнату, увидел лежащего на ковре Пуго в белой рубашке, на которой расплзлось, ещё булькало пятно крови. Тут же на кровати стонала полная женщина. У неё в голове среди волос кровенела дыра.

Куравлёв опоздал. Он опоздал повсюду. Опоздал родиться, а теперь опаздывает умереть. Наступило время, когда убивают людей. И его непременно убьют, но почему-то ещё не убили.

Он вызвал по телефону “скорую помощь”, слыша стоны умирающей женщины. Садясь в машину, по радио узнал, что Бакланов арестован.

### Глава тридцать девятая

Куравлёв гнал по Рублёвке среди кричающих сирен, воспалённых лиловых вспышек. Свернул на другое шоссе, на третье. Гнал вслепую, на юг или на север. Ему казалось, за ним погоня. Его перехватят люди в чёрных пиджаках и убьют каким-нибудь жутким способом. Он спасался от них, удалялся от Москвы, хотел забиться в леса, в болота, в бедную, никому не известную избу, чтобы воющие чёрные “Волги” промчались мимо. Хотелось скрыться от людей, которые убивают. Быть может, уйти в чащу леса, вырыть землянку и жить там, в стороне от троп и дорог, одичать, обрасти бородой.

Так он мчался, одержимый страхом, пока вдруг не вспомнил о жене и детях. Он бросил их в Москве, где убивают. К ним явятся люди в чёрных

пиджаках и станут выведывать о нём у милой беззащитной жены, у Стёпушки и Олечки. И когда они будут выведывать, ломая им руки, он притаится в глухой избе, спасаясь от мук.

Это прозрение было ужасно. Страх сделал его низким животным. Он испытывал к себе отвращение. Развернул машину и помчался в Москву.

В Москве был вечер, зажглись фонари. Люди попрятались по домам, только в окнах горели одинаковые оранжевые абажуры. Куравлёв ехал по бульвару мимо Чистых прудов и вдруг увидел Макавина. Тот медленно шёл, переставляя длинные ноги. То ли гулял, то ли брёл, забыв дорогу.

— Макавин! Антон! — позвал Куравлёв, опуская стекло.

Макавин обернулся:

— Витя, ты?

Куравлёв вышел из машины и пошёл рядом с Макавиным.

— Видишь, что творится? Город пуст. Народ как вымер. Все спрятались, как улитки, — сказал Куравлёв.

— Русский народ — предатель. Сначала предал царя. Потом предал Сталина. Предал Хрущёва и Брежнева. Сегодня предал Горбачёва. А завтра предаст Ельцина. Ненавижу русский народ!

— Народ, как тростник. Его буря гнёт.

— Россия подошла к самоубийству. Здесь будет разрушено всё. Народ, что громил церкви и жёг усадьбы, теперь станет громить заводы и университеты, которые сам и построил. Русский народ испытывает сладость самоубийства. Народ — убийца и народ — самоубийца.

— Народ обманули. Его предали. Он беззащитен.

— Ты увидишь, как беззащитный народ станет убивать. Россия должна быть разрушена дотла. Она будет разрушать себя целый век, пока какой-нибудь кровавый людоед не укротит народ и не заставит заново строить заводы и университеты. На костях. Чтобы всё это снова разрушить. Раз в сто лет Россия разрушает себя дотла, а потом заново строит себя на костях. Дурная бесконечность. Россия — медуза, которая пульсирует между трёх океанов, не давая покоя ни себе, ни другим.

— Но ты же писатель! Тонкий умный писатель! Быть может, лучший из современных писателей. Ты должен описать народ, который погрузили в ад!

— Перестань! Какой писатель? Наташка Петрова с её паскудными статьями. Саша Кемпфе с его тупым непониманием России. Андрей Моисеевич у “Аэропорта”, как паучок, плетущий из слюнки свои паутинки. Трифонов, последователем которого хотели меня назначить. Всё вздор, сор, забыто, нет ничего. Начали шевелиться земные платформы. Земля стряхивает с себя Россию, а Россия цепляется, хочет удержаться. Сынет костями, среди которых ползают рубиновые морские звёзды. Ненавижу! Уеду!

— Ты хочешь спастись от взрыва? Но ты же писатель, должен описать этот взрыв.

— Уже написаны “Окаянные дни”. Написан “Архипелаг ГУЛаг”. Мне здесь нечего делать. Я убегаю. Я — человек убегающий. А ты оставайся! Ты опишешь взрыв, если одна из костей не ударит тебя в лоб!

— Ты покидаешь страну?

— Завтра сажусь на самолёт и улетаю в Эквадор, в джунгли. Чтобы никогда не видеть русского лица, не слышать русской речи. Прощай, Витя!

Они хотели обняться, но воздержались. Макавин пошёл дальше, длинноногий и одинокий. Куравлёв смотрел ему вслед, как он мелькнул под фонарём. Воздух был сухой, горячий. Быть может, таким его сделал их разговор. Кругом тихо потрескивали, пробежали розоватые сполохи. Внезапно с крыши сорвался огненный шар, полетел по дуге, обогнул деревья и упал в пруд. Шипел, искрился на воде. Медленно ушёл в глубину и погас. Другой шар прилетел, ударил в фасад дома, отскочил, перелетел улицу, ударил в другой фасад, повис на древе. Как бенгальский огонь, рассыпал искры и выгорел, превратившись в белый пар. Ещё один огненный шар медленно плыл прямо на Куравлёва. Остановился перед самым лицом, уплыл в сторону и с треском взорвался. Там, где он только что был, светилось и не гасло пятно.

Куравлёв не знал, что это было. Может, сухая гроза, рождавшая шаровые молнии, кидавшая их, как гранаты, в омертвелый город. Он сел в машину и поехал домой.

Он стал открывать ворота, чтобы поставить машину во двор. Мимо бежал растрёпанный бесполок человек, в котором Куравлёв узнал поэта, завсегда в Пёстрого зала, где тот выяснял, не он ли лучший поэт России.

Поэт увидел Куравлёва:

— Собирайся, пойдём! Евтушенко захватил ЦДЛ! Теперь с толпой демократов направляется на Комсомольский, чтобы захватить российский Союз! Все наши собираются! Не отдадим Евтушенко Союз! Бондарев всех собирает!

Поэт побежал дальше, размахивая руками, словно боялся поскользнуться на льду. Куравлёв замер, забыв открыть ворота. Там, на Комсомольском проспекте, собираются писатели, чтобы дать отпор победителям. Не чувствуют себя побеждёнными. Готовы сражаться. Всесильные генералы, могучие партийцы, надменные хозяева жизни — все разбежались, сдали страну. А писатели, братья его, без оружия, без танков, без бомбардировщиков, дают отпор врагу, как последний, обречённый на смерть батальон. Сберегают малый клочок земли, крохотный плацдарм, с которого начнётся наступление.

Куравлёв позвонил жене, просил не тревожиться, обещал скоро вернуться и помчался на Комсомольский. Особняк Союза писателей России с белоснежными колоннами, янтарным фасадом, горящими окнами, напоминал дворец, в котором идёт бал. Куравлёв подёргал литые медные ручки входных дверей. Ему отворили не сразу:

— Это наш, наш, Куравлёв! — сказал кто-то, карауливший у дверей.

В просторном фойе двигались люди, быстрые, ловкие, хваткие. У них были светлые бороды, русые волосы, перетянутые лентами. Они переставляли мебель, толкали к дверям диван, готовились к осаде. Напоминали героев фильма “Александр Невский”.

— Вы откуда? — спросил Куравлёв.

— Славянский собор, — ответил парень с русской бородкой, прищипывая на стенд листок. Это был приказ по гарнизону, предписывающий членам штаба собраться на втором этаже. Куравлёв с радостью прочитал приказ. Здесь была оборона, дисциплина, осмысленный отпор.

Куравлёв прошёл на второй этаж в обширный кабинет Бондарева, полный народа. Бондарев сидел за столом, чуть нахохлившись, зорко вскидывая глаза на окружающий его люд. Он беседовал с Валентином Распутиным и Василием Беловым, что-то им твёрдо толковывал.

— А, солдат! Здравствуй! — Бондарев увидел Куравлёва, и это бондаревское “солдат” утвердило, успокоило Куравлёва. Он почувствовал себя бойцом, солдатом в общем строю, у которого есть командир, этот отважный фронтовик Юрий Васильевич Бондарев.

Теперь Куравлёв был не один. Его окружали солдаты. Все вместе, единой волей, отражают захватчиков. И если придётся умереть, то не в чёрном пыточном подвале, не в петле, а на поле боя, вместе с товарищами.

К Бондареву подошёл долговязый, очень худой поэт, кажется, из Воронежа:

— Юрий Васильевич, — склонился он к Бондареву, — разведка докладывает. В ЦДЛ много народу. Среди них Евтушенко. Обсуждают, идти ли им на Комсомольский.

— Молодец, — сказал Бондарев, — Каждые полчаса мне докладывай.

Один из поэтов, писавший о растениях и животных, вскочил на стул и громко, сначала фальшиво, а потом всё уверенней, запел:

— Наверх вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступает!

Все подхватили мужественную песню, и их писательский дом превратился в “Варяг”, где экипаж облачается в белые рубахи, чтобы дать последний бой. Громогласно, бодро пропели: “Артиллеристы, Сталин дал приказ...”, поглядывая на Бондарева. Тот строго, внимательно слушал.

Все гомонили, обнимались. Куравлёв обнимался, даже с теми, кого не знал. Был благодарен им за то, что приняли его в своё братство. Перед

смертью проведут вместе свои последние часы. Поэты читали стихи. Сумрачный Кузнецов, раскачиваясь, гудел, как в рог, своих “Маркитантов”. Николай Тряпкин, как волхв и сказитель, пел про гагару. Татьяна Глушкова читала чудесный стих про Ахматову.

Поэт Александр Бобров достал гитару, схватил щепотью струны, а потом с лихим отчаяньем, слёзной удачью запел:

— Матушка родные, налей воды холодные...

И все опять обнимались, целовались, братались. Командир Славянского собора спросил у Бондарева:

— Разрешите начать ломать мебель. Приступаем к строительству баррикад!

— Погодите, ребята, — остановил его Бондарев, оглядывая дорогие дубовые столы и кресла с гнутыми спинками.

Опять появился тощий разведчик:

— Всё тихо, Юрий Васильевич. От Садовой до Комсомольского нет скопления народа.

— Продолжай наблюдать, — приказал Бондарев.

Появилась водка. Её разливали бережно, чтобы хватило на всех, только закрывали донце стакана. Поднесли Бондареву:

— Выпейте фронтовые сто грамм.

Бондарев взял стакан, сделал вздох и выпил. Поморщился, поморгал глазами.

— Как пошла, Юрий Васильевич?

— Как в сорок третьем.

Все вдруг закричали:

— Чучело, чучело Евтушенко! Жечь его!

Появилось чучело, неумело склеенное из картона. Длинный нос, балахон, клоч волос. Чучело было насажено на шест.

— Жечь его!

Все высыпали на пустой Комсомольский проспект. Ни одной машины, только тускло блестел под фонарями асфальт. Чучело облили бензином, кто-то поднёс зажигалку. Оно запылало. Его крутили на шесте, вокруг него скакали, свистели, улюлюкали. Смотрели, как отпадают от чучела горящие лохмотья, падают на асфальт. Куравлёв скакал и кружился вместе со всеми. Это был колдовской обряд, шаманский танец, отгонявший злого духа, лишавший его силы. Враг отражался ворожкой, заклинаниями. Чучело догорело, остатки истлевали на асфальте. Шаман, совершивший сожжение, опираясь на обугленный шест, повёл народ обратно во дворец.

Ещё пили водку, читали стихи, молились, плакали, клялись в вечной дружбе. Куравлёв верил, что здесь, в московской ночи, начинается русское сопротивление, ещё не названное, но уже состоявшееся. Народ бузил, некоторые в изнеможении сдвигали стулья и засыпали. Куравлёв держал стакан с водкой. Рядом оказался человек, невысокий, с широким лицом в оспинах.

— Хотите водки? — протянул ему стакан Куравлёв.

— Спасибо. Не пью. Я татарин.

— Писатель?

— Нет, оказался случайно.

— А откуда вы?

— Я пресс-атташе советского посольства в Анкаре.

— Подождите, в Турции! А вам ничего не говорит фамилия Пожарский?

— Как же, он работал в военном атташе. У него была такая очаровательная жена.

— Почему была?

— Месяц назад Пожарский с женой разбились в машине. Жена слишком лихо водила машину. В горах такая опасная дорога.

Куравлёв был слишком измождён для того, чтобы это известие ошеломило его. Он оставил недопитый стакан и вышел.



## Глава сороковая

Он приехал в редакцию, собрал свой маленький коллектив:

— Друзья, я считаю своим долгом предупредить вас, что с сегодняшнего дня работа в газете “День” становится опасной. Возможны репрессии, возможны гонения, возможны нападения на каждого из вас. Не смею никого принуждать к работе. Вы можете покинуть редакцию “Дня”. Это будет понято мной и оправдано.

Никто не покинул редакцию. Неистовый Бондаренко сказал:

— Работаем, как работали, Виктор Ильич. Когда ещё придётся постоять за Отечество!

Николай Анисин, тощий, длинноногий, похожий на журавля, пошутил:

— Будет “День”, будет пища.

Шамиль Султанов, радикально настроенный, произнёс:

— Мы должны признать, что буржуазная контрреволюция совершилась. Мы будем готовить новую революцию!

Куравлёв просмотрел текущую прессу. В “Литературной газете” печаталась статья, посвящённая путчу. Среди прочего говорилось об особой связи Куравлёва с Баклановым. Бакланов награждал Куравлёва орденом. Он ужинал с ним в ЦДЛ. Куравлёв сделал с Баклановым обширное интервью. По поручению Бакланова Куравлёв написал путчистское “Слово к народу”. С Баклановым он летал на Новую Землю разрабатывать стратегию путча. И вчера, за несколько часов до ареста Бакланова, Куравлёв побывал у него в кабинете. Должно быть, получал наставления от своего патрона, как организовать коммунистическое подполье, что и проявилось во вчерашней писательской сходке на Комсомольском.

Статья натравливала на Куравлёва общественное мнение. Была доносом, сулила арест. Должна была сломить Куравлёва, запугать, лишить воли. Но вчера Бондарев назвал его солдатом. Он и был солдат разгромленной армии, которая сражалась в окружении.

Куравлёв распорядился достать плёнку, сделанную в кабинете Бакланова в момент интервью. Поместил в газету все кадры, на которых он с Баклановым беседует, взмахивают руками, что-то бурно, дружески обсуждают. Дал всему этому заголовок: “Бакланов Космический”. Враг, напечатавший донос, был посрамлён. Арестованный Бакланов оставался близким Куравлёву человеком, был великим советским государственным деятелем.

Куравлёв просматривать прессу. Была предсказуема статья Натальи Петровой, кипящая ненавистью к Куравлёву. Но удивила статья Марка Святогорова. Тот уверял, что давно замечал за Куравлёвым ненависть к демократии, свободе, увлечение такими фигурами, как Сталин. И эти черты очень хорошо разглядел в Куравлёве Андрей Моисеевич Радковский, с которым согласна писательская общественность “Аэропорта”.

Ещё больше поразила Куравлёва статья Сыроедова, этого опального редактора “Литературки”, который направлял Куравлёва в Афганистан. Об Афганистане шла речь в статье. О кровожадных сценах, питающих вдохновение автора. О любовании смертями, что говорит о некрофильских наклонностях. О милитаристском духе, с которым так боролся Сыроедов, редактируя репортажи Куравлёва.

Неужели так велик был страх Сыроедова перед победителями, так стремился он отрешиться от своего коммунистического прошлого, что решил кинуть камень в Куравлёва, чтобы снискать благосклонность победителей? Что бы те приняли его в свой круг и, быть может, вернули должность?

Наконец, верхом вероломства и низости оказалась статья Фаддея Гуськова, говорившего о Куравлёве, как о слабом писателе, желающем скомпенсировать свои литературные неудачи проповедью путча и насилия. Куравлёв не понимал, что двигало Гуськовым, близким товарищем, другом, вступившим в партию, чтобы бороться с “перестройкой”. Какие глухие углы таились в его душе? Как велико было его страдание, если он пошёл на низость и включился в общую травлю? Куравлёв был угнетён, размышлял о тайном подполье, что темнеет в каждой душе.

В кабинете появилась съёмочная группа Центрального телевидения. Её возглавлял телеведущий Молчанов, тот, что до этого вёл программу “После полуночи”. Он приглашал в программу представителей белой эмиграции, отпрысков княжеских родов, потомков тех, кто покинул Россию на “философском пароходе”. Он усвоил, как ему казалось, аристократические манеры, особую паточную любезность, особый льстивый тон, которым извинялся перед отпрысками именитых родов за те зверства, что учинили большевики с белой эмиграцией. У него были сдержанные отрепетированные жесты. Он носил смокинг с бабочкой, излучал изысканность салонов. Теперь же ворвался в кабинет Куравлёва, облачённый в американский камуфляж. На нем был капроновый пояс, какой носят американские пехотинцы. На ногах — грубые ботсы с толстенными подошвами. Он демонстрировал дух военного времени. Оставил свой салон, чтобы сражаться за демократию.

Оператор навёл камеру на Куравлёва, а Молчанов с грубоватой наглостью репортёра спросил:

— Как вы считаете, убийство трёх молодых людей, учинённое ГКЧП, является преступлением?

— Если смерть трёх людей спасает жизнь миллионов, то она оправдана, — Куравлёва слепила подсветка телекамеры.

— Хорошо. А не кажется ли вам, что вы вашей позицией предаёте общечеловеческие ценности и ценности свободы?

— Будь проклята ваша свобода! Слышите? Будь она проклята! — Куравлёв испытал мгновенную ненависть к мясистому лицу Молчанова, к его бутфорскому камуфляжу, ко лживости всего, чем тот занимался, с бабочкой на кружевной рубашке или с капроновым поясом американского пехотинца.

— Спасибо, — и Молчанов, громыхая ботсами, выбежал из кабинета. Поспешил в Останкино, чтобы добытый уникальный сюжет попал в вечерние новости.

Вчера, после визита к Бакланову, после жуткой смерти Кручины, выброшенного из окна на его глазах, после убийства Пуго, после прощального разговора с Макавиным во время сухой грозы, после осады Союза писателей на Комсомольском — после всего этого Куравлёв был так обессилен, что, узнав о гибели Светланы, не пустил в себя это известие. Не дал ему распуститься в нестерпимую боль. Оставил эту боль на потом.

Теперь же эта пора наступила, и боль была нестерпима. Он не мог понять, что в солнечном воздухе, пахнущем флоксами, больше не существует она, кого он продолжал любить, надеялся на невозможную встречу. Теперь эта встреча вовек не случится.

Он ненасытно вспоминал её белую открытую шею, которую целовал, её дышащий живот, к которому прикасался губами, её пленительный танец, когда она, не касаясь земли, подлетала к вазе с быками, а потом сбросила полупрозрачную блузку, и он ловил её маленькие девичьи груди; и как она загорелась в церкви и как лежала в ванной с закрытыми глазами, а он любовался ею сквозь воду, которая вздрагивала, когда из крана падала капля. Он вспоминал её на сиденье машины, когда мимо прошёл грузовик, и она вспыхнула, как серебряный слиток, и их ужин в ЦДЛ, когда принесли бутылку красного “Мукузани”, и она пила, сладко пьянела, и губы её темнели от виноградного вина.

И ему вдруг захотелось сесть за тот столик, заказать “Мукузани” и пить в молитвенной надежде, что вдруг она сядет рядом, протянет бокал с тёмным вином, и он протянет навстречу свой, и раздастся тихий звон волшебного стекла.

Это желание было столь сильным, надежда на чудо столь сладостной, что он поднялся и поехал в ЦДЛ.

Напрасно. Дом, который был его вторым домом, где он впервые познакомился с Трифоновым, держа в руках расписное яйцо, где с друзьями столько было говорено, вышито, где столько очаровательных женщин были готовы слушать их глупости, позволяли себя дурачить, — ЦДЛ встретил его враждебно. Куравлёв был проигравший, был зачумлённый. Был тем, кто может принести несчастье.

Две старухи с каменными львиными лицами, которые обычно при его появлении пытались изобразить улыбки, с трудом раздвигая каменные губы, теперь, увидев его, отвернулись. Несколько человек в фойе трусливо метнулись, спрятались за колонны. Киоскёрша, продававшая книги, всегда оставившая Куравлёву новинки, теперь на него не смотрела.

Куравлёв подошёл к прилавку, разглядывая книги. Увидел книгу Карповича с названием “Честные люди”. Недавно он читал рукопись, написал добрую рецензию, хвалил автора за интересный рассказ о работе советского агента, избличившего отвратительных антисоветчиков из Народно-Трудового Союза. Теперь же, прочитав аннотацию, он узнал, что книга повествует о самоотверженных людях из Народно-Трудового Союза, гонимых советской властью, делающих всё, чтобы эта власть поскорее пала. Куравлёву было горько и смешно. Карпович на старости лет решил нарушить присягу, предал организацию, которой обязан карьерой. Вспомнились слова Макавина о народе-предателе.

Когда Куравлёв проходил Пёстрый зал, все, увидев его, умолкли. Только пьяный Шавкута бесстрашно крикнул:

— Куравлёв, что ж ты им, сукам, отдал страну!

В Дубовом зале былолюдно. Шумные компании, все демократы, пили, произносили здравицы, славили победу.

Увидев Куравлёва, умолкли, оглянулись, иные засмеялись. Официантки, чувствительные к перемене погоды, были с ним холодны. Он сел за столик у готического окна, поджидая, когда к нему подойдут. Но долго не подходили. Когда мимо прошла пышногрудая красавица Татьяна, и он попросил принести вина, она огрызнулась:

— Разве нельзя подождать? Я занята!

Он сидел за пустым столом. В стороне пиновала компания. Среди пирующих был Андрей Битов с запущенной щетиной, что-то шепелявил ртом, полным слюны. Сидела Галина Старовойтова, толстоногая, с тяжёлым крупом и нездоровыми глазами. Она принимала поздравления, царила в застолье, окружённая сторонниками. Среди подвыпивших обожателей Куравлёв заметил Гуськова. Тот требовал тишины, стучал по тарелке вилкой:

— Господа, я требую внимания! То, что я собираюсь совершить, заслуживает внимания! Ибо не каждому из вас доводилось видеть самосожжение!

Гуськов достал из кармана партбилет. Ему поднесли зажигалку. Он поджёг книжицу, и все смотрели, как пламя поедает листки, пепел опадает на стол. Гуськов терпел, пока огонь не подобрался к пальцам. Уронил горящие остатки партбилета на тарелку, показывая тлеющие остатки всему залу. Отовсюду хлопали.

Куравлёву это показалось отвратительным. Он поднялся и вышел. Когда он пересекал фойе, в ЦДЛ входил корреспондент радио “Свободы” Франк Дейч. Он шёл, высоко подняв голову, властный, уверенный, как завоеватель, ступающий по завоеванной территории. За ним тянулся шлейф встречающих нового кумира. Две каменные старухи встали при его появлении. Несколько писателей торопились подарить ему книги. Очаровательная смешливая Нина Васильевна, устроительница литературных вечеров, умоляла назначить день, когда на встречу с ним она соберёт полный зал. Франк Дейч прошёл мимо Куравлёва, не заметив его.

Куравлёв уже собирался уходить из враждебного дома, как вдруг увидел при входе фотографию с траурной лентой. На фотографии был изображён тот, кого называли “ангелом смерти”. Загнутый, как у беркута, нос, откиннутая, на короткой шее, голова, надменный огненный взгляд. И имя: Трофим Степанович Цыплятников.

“Что же мне здесь остаётся, если умер даже сам “Ангел смерти”, — Куравлёв вышел из ЦДЛ, чтобы больше никогда не возвращаться.

Дома он застал жену и детей. Они сидели за столом тесно друг к другу и рассматривали фамильный альбом в кожаном переплёте с монограммой. С фотографий смотрели строгие, спокойные люди, исполненные величия прожитых жизней. Они были в армяках, поддёвках, кафтанах — пахари, кузнецы, ямщики, купцы. Оттуда, где они сейчас находились, дул ровный

таинственный ветер. Куравлёв чувствовал на лице давление этого ветра. Ветер принесил запах зерна, дыма, калёного железа, дёгтя и молоканской лапши. И чего-то ещё, что не имело названия, запаха. Просто ветер, соединявший времена, поколения, наделявший ныне живущих чертами фамильного сходства. Мама, пока была жива, карандашом написала под фотографиями имена, которые сообщила ей бабушка. Куравлёв, узнавая милый материнский почерк, читал. Тит Алексеевич. Аграфена Петровна. Алексей Вонифатиевич. И легендарный Степан, основатель молоканской деревни, куда привёл выходцев из Тамбовской губернии, на “млечные воды”. Предки, мужчины и женщины, смотрели на Куравлёва, спокойно поджидали, когда он придёт к ним и займёт своё место за деревянным столом, рядом с прадедом. Тот знал всё о его напастьях, о преодолении этих напастей, о том времени, когда у Куравлёва, прожившего жизнь, появится такой же спокойный величавый взгляд. Этот взгляд устремлён на двести лет вперёд, и от него будет веять всё тот же таинственный ветер.

Они сидели всей семьёй над альбомом и чувствовали себя частью огромной семьи, которая их продолжала любить.

### Глава сорок первая

А ЦДЛ сгорел, весь, дотла. Быть может, в него попала шаровая молния во время “сухой грозы”. Или повеса писатель, прихватив за талию шаловливую Нину Васильевну, кинул горящий окурочок в корзину с бумагами. Или обугленная страничка из партбилета Гуськова упала на сухой, как порох, паркет. Но Дом литераторов горел жарко. Было видно, как из горящих панелей Дубового зала, окутанные дымом, вылетают писатели. Нелепый уса-тый Горький, похожий на моржа, размахивал руками. Бабель с лицом, похожим на скрученный узел. Длиннорукий, с кошачьими усиками Симонов. Щекастый Фадеев. Задумчивый и печальный Твардовский. Их вылетало множество из горящих панелей. Они летели в небо, образуя круг, поджидая тех, кто спасался в огне. Последней вылетела Лиля Брик, маленькая, как птичка, семена в воздухе тонкими ножками. Писатели выстроились в клин и полетели из Москвы к далёким, в сыром золоте лесам. Писатели улетали из России. Москвичи, глядя на высокий клин, думали, что это талдомские журавли.

На пепелище ничего не осталось, кроме гнутых вилок и оплавленных дверных ручек. Маленький мальчик, роясь в углях, отыскал металлическую дощечку. На ней был изображён треугольник, а в треугольнике — широко раскрытый глаз. Мальчик прибежал домой и показал дощечку маме:

— Мама, мамочка, посмотри, какой красивый глазик!